

В. М. Алпатов



ЯПОНИЯ

Язык и культура



STUDIA PHILOLOGICA

S T U D I A P H I L O L O G I C A



В. М. Алпатов

ЯПОНИЯ

Язык и культура



ЯЗЫКИ СЛАВЯНСКИХ КУЛЬТУР
МОСКВА 2008

ББК 81.2
А 45

Издание осуществлено при поддержке
Российского гуманитарного научного фонда
(РГНФ)
проект № 07-04-16156

Алпатов В. М.

А 45 Япония: язык и культура. — М.: Языки славянских культур, 2008. — 208 с. — (Studia philologica).

ISBN 978-5-9551-0273-3

Первостепенным компонентом культуры каждого народа является языковая культура, в которую входят использование языка в тех или иных сферах жизни теми или иными людьми, особенности воззрений на язык, языковые картины мира и др. В книге рассмотрены различные аспекты языковой культуры Японии последних десятилетий. Дается также критический анализ японских работ по соответствующей тематике. Особо рассмотрены, в частности, проблемы роли английского языка в Японии и заимствований из этого языка, форм вежливости, особенностей женской речи в Японии, иероглифов и других видов японской письменности. Книга продолжает серию исследований В. М. Алпатова, начатую монографией «Япония: язык и общество» (1988), но в ней отражены изменения недавнего времени, например, связанные с компьютеризацией.

ББК 81.2

Электронная версия данного издания является собственностью издательства, и ее распространение без согласия издательства запрещается.

ISBN 978-5-9551-0273-3

© Алпатов В. М., 2008

© Языки славянских культур, 2008

Содержание

Предисловие	7
Глава 1. Краткий исторический очерк	11
1.1. Происхождение японского языка	11
1.2. Эпоха китайского влияния	15
1.3. Эпоха американского и европейского влияния	22
Глава 2. Воззрения японцев на язык. Языковые мифы	30
2.1. Важность языковых проблем	31
2.2. Уникальность японского языка	33
2.3. Преувеличение трудностей своего языка	36
2.4. Японский язык – для японцев	37
2.5. Особое богатство японского языка	40
2.6. Культура молчания	40
Глава 3. Японский национализм и картины мира	43
3.1. Японский языковой национализм	43
3.2. О японском мозге	47
3.3. Картины мира и японская уникальность	48
3.4. Амаэ и семантический язык	55
3.5. Итоговые замечания	58
Глава 4. О языковой картине мира японцев	61
4.1. Ряд разрозненных примеров	63
4.2. Японская природа и японский язык	68
4.3. Шкала цветообозначений	72
Глава 5. «Язык для своих» и «язык для чужих»	79
5.1. Противопоставление «свой – чужой»	79
5.2. «Языки для своих» и «языки для чужих»	83
Глава 6. Английские заимствования и английский язык в Японии	89
6.1. Гайрайго в современной Японии	89
6.1.1. Подсистема гайрайго	89
6.1.2. Что обозначают гайрайго?	92
6.1.3. Гайрайго и английский язык	96

6.2. Английский язык в Японии	104
6.3. Япония и другие языки	113
Глава 7. Правила японского речевого этикета	118
7.1. Адрессив и гоноратив	118
7.2. Японские термины родства и обращения в семье	123
7.3. Этикет в диалоге	129
7.4. Изменения в системе японского этикета	132
Глава 8. Мужская и женская речь	135
8.1. Как говорят японские мужчины и женщины	135
8.2. Почему так говорят японские женщины	144
Глава 9. Японское письмо	151
9.1. Особенности японского письма	151
9.2. Иероглифы в современном мире	156
9.3. Хирагана и катакана	166
9.4. Латиница в Японии	173
Глава 10. Отражение японской культуры в японской лексикографии	178
10.1. Отношение к старой лексике	180
10.2. Отношение к именам собственным	184
10.3. Подача фразеологизмов	188
Литература	191
Работы В.М. Алпатовой по японской языковой культуре	205

ПРЕДИСЛОВИЕ

Исследователи культуры далеко не всегда принимают во внимание такой ее важнейший компонент как язык. Нередко считается, что язык — лишь оболочка, в которую заключаются те или иные мысли и идеи, а для культуролога — вспомогательное средство для познания культуры. Но еще почти два столетия назад великий мыслитель Вильгельм фон Гумбольдт писал: «Язык тесно переплетен с духовным развитием человечества и сопутствует ему на каждой ступени его локального прогресса или регресса, отражая в себе каждую стадию культуры» [Гумбольдт 1984: 48]. В XX в. о языке как важнейшей составной части культуры писали такие крупнейшие ученые, как Э. Сепир и Н. С. Трубецкой. Указывают на это и японские ученые [Нага 2004: 12]. И первостепенным компонентом культуры каждого народа является языковая культура, в которую входят использование языка в тех или иных сферах жизни теми или иными людьми, особенности воззрений на язык, языковые картины мира и др. Сейчас эта проблематика активно изучается в науке разных стран, включая Россию.

Вопрос о языковой культуре Японии одновременно и разработан, и не разработан. В самой Японии о ряде ее аспектов (несходство японской и западной языковой культуры, японская картина мира, роль иероглифической письменности в жизни японцев, специфика форм вежливости, особенности женской речи и др.) пишут очень много. У нас и в западных странах о них также существует немало публикаций. Однако надо учитывать две проблемы. Во-первых, как правило, разные стороны японской языковой культуры рассматриваются по отдельности, независимо друг от друга, работ обобщающего характера немного, а у нас в японистике после Н. И. Конрада, Н. А. Невского и других первооткрывателей возобладала узкая специализация. Во-вторых, что самое важное, очень многое из того, что сейчас публикуется, требует критического к себе отношения; особенно это относится к японским работам. В них нередко авторы

исходят из априорных тезисов, например, о японской исключительности, о превосходстве японской культуры над западной. Они могут в большей степени служить материалом для изучения японских стереотипов массового сознания, чем собственно научной базой. Однако даже в худших публикациях такого рода к априорным тезисам подгоняются факты, сами по себе интересные и требующие внимания и объяснения. За пределами Японии, в том числе в России, довольно часто к этим публикациям относятся некритически, принимая на веру спорные высказывания. Поэтому нам представляется необходимым, помимо рассмотрения собственно лингвокультурологических вопросов, дать критический обзор публикаций, прежде всего, японских, по нашей тематике.

Книга затрагивает ряд вопросов, которые мы рассматривали в книге «Япония: язык и общество», публиковавшейся двумя изданиями в 1988 и 2003 гг. (роль диалектов, заимствования из английского языка, формы вежливости, иероглифы и др.). Мы старались по возможности избегать пересечения проблематики и повторения примеров, хотя совсем обойтись без этого невозможно. Но, во-первых, многие проблемы (воззрения японцев на язык, языковой аспект японского национализма, языковые картины мира и др.) мы систематически рассматриваем только в этой книге. Во-вторых, и пересекающиеся проблемы мы анализируем в ином аспекте: в той книге нас интересовала роль языковых процессов в социальной жизни Японии, здесь мы изучаем эти процессы в культурном плане, хотя, разумеется, глухой стены между данными аспектами нет. В-третьих, книга «Япония: язык и общество» была в основном адресована специалистам (профессионально занимающимся Японией, а также социолингвистам). А эту книгу мы хотим адресовать и более широкому кругу людей, интересующихся Японией, но не всегда владеющих достаточной информацией. Японская культура привлекает у нас большое внимание, но с ее восприятием связано немало мифов. Некоторые из них восходят к мифам, создаваемым в самой Японии; другие мифы возникают из-за того, что мы часто видим в чужой культуре лишь то, что сами хотим видеть. Нам хотелось бы как-то принять участие в борьбе с некоторыми ходячими мифами.

И еще одно различие двух наших книг связано с временной дистанцией: книга «Япония: язык и общество» писалась более двух десятилетий назад. Мы не отказываемся ни от одного из ее существенных положений, но она отражала (при отдельных экскурсах в более

ранние эпохи) ситуацию середины 80-х гг. XX века. Безусловно, в последние примерно полвека в Японии не наблюдалось значительных социальных перемен, культурная ситуация также сравнительно стабильна, поэтому многое из того, о чем мы писали в 80-е годы, сохранилось и сейчас. Но мы не можем не фиксировать и изменения недавнего времени, например, связанные с компьютеризацией, в 80-е гг. только начинавшейся, с попытками усилить роль английского языка, с изменением положения женщин. Прежде всего, книга посвящена японской языковой культуре последних пятидесяти лет, и основной акцент в ней сделан на современность. Однако, еще в большей степени, чем в прежней книге, мы должны учитывать и общие свойства японского общества и японской культуры, свойственные разным историческим эпохам. В начале книги мы даем историческую главу, где выявляем некоторые константы японской языковой культуры и особенности ее формирования и развития, а в других главах иногда делаются экскурсы в прошлое.

Мы отдаем себе отчет в том, что лингвокультурология пока что не выработала научных методов для решения большей части своих проблем. Дело не в количестве фактов: их очень много, и мы не можем претендовать на полный их охват. Однако строгих критериев отбора и классификации фактов пока нет, что и открывает возможности для мифотворчества и ненаучных спекуляций. Во многом приходится часто руководствоваться так называемым здравым смыслом. Но нам представляется, что данные проблемы очень актуальны, и если ими не заниматься, то место пусть нестрогих, но стремящихся к объективности исследований может занять откровенно ненаучная продукция.

Данную книгу не следует рассматривать как исследование по строю японского языка. Конкретные языковые примеры, иногда с необходимыми для неспециалиста объяснениями, будут даваться, прежде всего, как иллюстративный материал. Для тех, кто хочет более подробно познакомиться с теми или иными грамматическими или лексическими явлениями японского языка, в книге даются отсылки к наиболее важным из существующих публикаций по той или иной конкретной тематике. Для первичного знакомства со строем японского языка можем рекомендовать книги [Shibatani 1990; Iwasaki 2002; Алпатов, Аркадьев, Подлесская 2008].

В книге не ставится задача систематического сопоставления японского языка с русским или языковых процессов в Японии и в нашей

стране. Однако совсем избегать такого рода сравнений было бы слишком жестким ограничением, иногда те или иные аналогии или контрасты слишком очевидны. Сейчас многие публикации в Японии и вне ее посвящены сопоставлению японского языка с английским и сравнению языковых и/или культурных ситуаций в Японии и в западных странах, эти вопросы также иногда затрагиваются в нашей книге.

Материал книги в значительной части был собран во время командировок в Японию в 1997, 2001 и 2007 годах, осуществленных благодаря соглашениям о сотрудничестве между Институтом востоковедения РАН и университетами Кэйю и Хосэй в Токио.

Ряд разделов книги ранее печатался в виде статей, список их приводится в ее конце. Некоторые из статей при включении в книгу подверглись переработке.

Японские примеры и большая часть японских лингвистических терминов даются в стандартной латинской (хэпбёрновской) транскрипции. Эта транскрипция обладает большим числом недостатков (см. главу 9), но сейчас она наиболее распространена в мире, с чем приходится считаться. Долгота гласных, допускающая в данной транскрипции несколько вариантов обозначения, передается удвоением гласной буквы. Но если то или иное японское слово уже вошло в русский язык, то оно пишется в книге кириллицей в соответствии с принятым написанием, в том числе без передачи долготы гласных в оригинале. Японские антропонимы в соответствии с принятыми в нашей японистике правилами даются в порядке японского языка: фамилия + имя.

Автор благодарит А. В. Костыркина, Е. В. Маевского, А. С. Панину и З. М. Шаляпину за высказанные замечания и Е. Л. Катасонову за содействие в сборе материала для книги.

Глава 1

КРАТКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

В данной главе мы кратко рассмотрим основные этапы развития японского языка в связи с развитием японской культуры.

1.1. Происхождение японского языка

Мы знаем, что различные языки относятся к различным языковым группам и семьям. Общеизвестно, что русский язык — славянский, английский — германский, а татарский — тюркский; про русский и английский также известно, что они вместе с другими славянскими и германскими языками входят в большую индоевропейскую языковую семью, куда тюркские языки не относятся. Родство языков не всегда означает культурную близость, не всегда верно и обратное: скажем, венгры при значительных языковых различиях по культуре гораздо ближе к соседним славянским и германским народам, чем к ближайшим языковым родственникам — ханты и манси на севере Западной Сибири. Но всё-таки родство языков и близость культур совпадают очень часто: и славянские, и германские, и тюркские народы имеют немало культурных сходств.

А с родственными связями японского языка до сих пор не всё ясно. Например, в не новом, но до сих пор благодаря своим высоким качествам используемом в наших вузах учебнике А. А. Реформатского «Введение в языковедение» дана классификация языков по семьям и группам. Здесь под номером 20 дается класс «Отдельные языки Дальнего Востока, не входящие ни в какие группы» [Реформатский 1967: 434]. Здесь перечислены японский, корейский, айнский языки, а также «*рюкюский*, очевидно, родственный японскому» (к вопросу о статусе языковых образований на островах Рюкю мы обратимся в главе 5). Во всей книге только эти языки прямо названы не входящими ни в какие группы. Правда, на деле А. А. Реформатский наряду с установленными семьями включает в классификацию и объедине-

ния языков по географическому признаку: «Языки Северной Америки» (имеются в виду индейские), «Австралийские языки» (аборигенов) и др., но там речь идет о недостаточно известных и изученных языках. Японский же язык не может ставиться с этими языками в один ряд ни по числу носителей, ни по экономическому, политическому и культурному значению, ни по уровню изученности. Кроме того, установление родственных связей языков обычно тем легче, чем на большее время можно проследить их историю по письменным памятникам, поэтому часто оно затруднено для семей и групп, целиком состоящих из бесписьменных и младописьменных языков. Но японский язык по письменным памятникам известен с VIII в. н. э., то есть первые тексты этого языка на два столетия старше древнейших известных нам славянских памятников. И всё равно родственные связи японского языка до сих пор вызывают споры, хотя сейчас ситуация стала яснее, чем она была в годы, когда создавался учебник А. А. Реформатского.

По современным представлениям, на Японских островах издавна (не позже I тысячелетия до н. э.) жили аборигены (так называемая культура Дзёмон), чей язык был австронезийским, родственным языкам современных Индонезии и Филиппин; ближе всего он был, по видимому, к ныне почти исчезнувшему языку аборигенов Тайваня. Однако эти люди жили лишь на Рюкю, Кюсю, Сикоку и в западной части Хонсю, а восточнее на Хонсю и на Хоккайдо жили айны, народ загадочного происхождения, антропологически отличный от всех исторически известных соседей, с языком, родственные связи которого до сих пор не установлены. Точная граница между территориями раннего расселения австронезийцев и айнов на Хонсю не установлена. В первые века новой эры с материка вторглись алтайские племена (кочевники, перешедшие после переселения к оседлости). Японский этнос образовался от смешения этих народов.

Однако они внесли разный вклад в образовавшуюся в начале новой эры японскую культуру и в тогда же сформировавшийся японский язык. Айны, охотники и рыбаки, не знавшие земледелия, были частично ассимилированы, частично отеснены в северную часть Японии (о дальнейшей судьбе айнов и их языка будет сказано в шестой главе). Вклад айнов в японский язык (как и в японскую культуру в целом) невелик, и его можно сопоставить с индейским компонентом в американском варианте современного английского языка. Айнский пласт лексики значителен в топонимике: не только топонимика Хок-

кайдо почти целиком происходит из айнского языка, но и название знаменитой горы *Фудзи* некоторые ученые выводят оттуда. Но в остальной лексике айнских по происхождению слов очень мало; самое, пожалуй, известное из них (не считая самого названия народа *ainu*) — *ottosei* 'морской котик'.

А австронезийские и алтайские параллели со многими словами древнеяпонского языка несомненны. Вопрос, однако, в том, какой из двух слоев исконен, а какой следует считать результатом древних заимствований. Обе точки зрения существовали. Гипотезу о связи японского языка с алтайскими (тюркскими, монгольскими, тунгусо-маньчжурскими и, возможно, корейским) впервые выдвинул А. Воллер еще в середине XIX века. Гипотеза о его связи с австронезийскими языками была впервые сформулирована крупнейшим отечественным ученым Е. Д. Поливановым в 10-е гг. XX в. Существует и концепция, согласно которой японский язык — смешанный алтайско-австронезийский, ее отстаивал самый крупный из японских специалистов по сравнительно-историческому языкознанию Мураяма Ситиро (1908—1995). Однако большинство специалистов в принципе отрицают существование смешанных языков и считают, что каждый язык принадлежит только к одной семье и одной группе, и эта принадлежность не может измениться.

И лишь недавно выдающийся отечественный ученый Сергей Анатольевич Старостин (1953—2005) подтвердил на обширном языковом материале выдвинутую еще в XIX веке гипотезу о его родстве с алтайскими языками, включая корейский [Старостин 1991]; см. также фундаментальный алтайский словарь [Starostin, Dybo, Mudrak 2003], включающий и японский материал. Основная лексика во вновь образовавшемся языке осталась алтайской (почему и можно говорить, что японский язык — алтайский), но очень изменилась, алтайской осталась и грамматика, агглютинативная в своей основе, фонетический же строй более сходен с австронезийскими языками. По-видимому, потомки аборигенов — австронезийцев, сменив язык, не усвоили алтайскую фонетику, в результате чего фонетическая система значительно упростилась по сравнению с другими алтайскими языками: почти отсутствуют закрытые слоги и стечения согласных, постепенно исчезло характерное для алтайских языков явление сингармонизма (гармонии гласных). С. А. Старостин и российские ученые его школы значительно продвинули вперед доказательство японо-алтайского родства. Но и сейчас это родство признано не всеми, особенно за рубежом, см. [Алпатов 2007].

Но такое родство — очень дальнее: по данным С. А. Старостина, предок японского языка отделился от предков остальных алтайских языков раньше, чем разделились разные ветви индоевропейской семьи. Даже корейский язык, по-видимому, генетически ближайший к японскому из ныне существующих языков, находится дальше от него, чем, скажем, русский, английский и хинди друг от друга. Ни один из столь крупных, социально значимых и имеющих столь долгую письменную традицию языков мира не обособлен так, как японский. Эта черта, как мы увидим в следующей главе, сильно повлияла на языковые представления японцев.

Контакты между алтайской и австронезийской культурами завершились еще в первом тысячелетии н. э. стадией полного слияния. А в языке австронезийские по происхождению слова и морфемы (за пределами базовой лексики их немало) не имеют фонетических или семантических отличий от алтайских. Не только обычные носители языка, но и профессиональные лингвисты не знают происхождения тех или иных слов (нередко в Японии и сейчас в ходу народные этимологии). Их могут различить лишь редкие компаративисты — японисты (в Японии при общем значительном развитии науки о языке сравнительно-историческое языкознание за сто с лишним лет продвинулось довольно мало), но и среди них нередко нет единства. В Японии с давних пор принято объединять оба слоя лексики и древнейшие дописьменные заимствования (в основном из корейского и китайского языков) в единый класс *wago*, что буквально означает «японские слова». Они противопоставлены двум позднее появившимся классам лексики, о которых будет сказано ниже.

Дальнейшая история Японии имела ряд особенностей, повлиявших на языковое сознание в стране. Сформировавшийся в первые века новой эры японский этнос продолжал жить на той же территории без значительных ее изменений. Исключение составляла лишь постепенная экспансия на север за счет айнов, продолжавшаяся вплоть до XIX в. (лишь тогда была заселена большая часть Хоккайдо). Особая ситуация также наблюдалась на островах Рюкю, но эта территория всегда была периферией. Вплоть до XIX в. не было японской экспансии на континент, а до середины XX в. — вторжения на острова извне (если не считать двух неудачных попыток со стороны монголов в 1274 и 1281 г.). Как отмечают исследователи (см., например, [Gottlieb 2005: 18]), в Японии, в отличие от других азиатских стран, никогда не стояла проблема защиты своего языка

от колонизаторов. Японский язык безраздельно господствует в Японии на протяжении почти двух тысячелетий. Первичные австронезийские и алтайские языки исчезли, айнский язык был оттеснен на далекую периферию, а иммигрантских общин до XX в. не существовало. Это, однако, никогда не означало однородности использовавшихся в Японии языковых образований. Наоборот, диалектные различия всегда там были значительными, о чём мы будем говорить в пятой главе. Но отличие языка от диалекта в большинстве случаев определяется не объективными языковыми различиями, а субъективным этническим сознанием (при наличии литературной нормы также границами ее распространения). И все имевшиеся на Японских островах (исключение — отчасти Рюкю) языковые образования всегда рассматривались как варианты японского языка (с позднего средневековья установился термин *hoogen*, буквально *сторонний язык*, который в период европеизации стал считаться эквивалентом термина *диалект*). А разные виды нормированного языка, употреблявшиеся в Японии, никогда до конца XIX в. не использовались за ее пределами. Этим японский язык в том или ином варианте всегда отличался от таких языков как латинский, греческий, церковнославянский, санскрит, классический арабский, китайский вэньянь, обслуживавших целые культурные ареалы, населенные разными этносами.

Однако японский язык существовал не в культурной изоляции. Определяющим для его развития на длительный период (более тысячелетия) стало влияние китайского языка, связанное с общим культурным влиянием Китая на Японию.

1.2. Эпоха китайского влияния

У японцев не было письменности до знакомства с китайской иероглификой. Первое появление китайских письмен в Японии относят к I в. н. э., а древнейший сохранившийся иероглиф, написанный японцем, — к IV в. К тому времени, очевидно, уже были японцы, умевшие писать по-китайски. Однако собственно японские памятники в небольшом количестве фиксируются лишь для VII в., а первый памятник крупного размера — «Кодзики» появился в начале VIII в. (общепринятая дата 712 г.). К этому времени освоение китайской письменности в Японии в основном завершилось. Вместе с иероглифами в язык вошли и их чтения, подвергшиеся фонетическим преобразованиям. Образовался, а затем значительно развился слой китайской по

происхождению лексики, именуемый *kango*, буквально «китайские слова».

В течение VIII в. появляется уже несколько крупнейших памятников, причем сразу в разных жанрах. Создаются многотомные исторические хроники — «Кодзики» и «Нихон-сёки» (включающие также, особенно первый из них, мифологию и фольклор), географические и одновременно деловые сочинения — земельные описи «Фудоки», синтоистские молитвословия «Норито» и, наконец, поэтическая антология «Манъёсю», включившая в себя 4516 стихотворений. Художественная литература того времени ещё была только поэтической, опираясь здесь на традиции бесписьменной эпохи. Ни драматургии, ни прозы в обычном смысле ещё не было (хотя «Кодзики» включает в себя легенды и сказки).

В это время письменность в Японии была чисто иероглифической. Поэтому для большинства памятников (кроме «Манъёсю») нелегко решается вопрос о том, на каком языке они написаны. Например, в отношении «Кодзики» разброс мнений исследователей очень велик: одни считают его памятником китайского языка, другие — памятником японского языка, третьи относят его к некоторому промежуточному образованию, четвертые выделяют разные языковые слои [Черевко 2004: 14–18]. Современный исследователь приходит к выводу: «Текст «Кодзики» воплощает в себе особенности двух языков, записанных иероглифами, — японского и китайского, имеющих разную структуру» [Черевко 2004: 57].

Освоение китайской письменности и лексики было частью общего культурного влияния Китая на Японию. Важно учитывать, что политически Япония никогда не подчинялась Китаю, а решающим фактором культурного процесса было не давление извне, а желание самих японцев взять от китайской культуры то, что им было нужно. Как дальше мы увидим, внутренние, а не внешние факторы определяли соотношение исконного и заимствованного в японской культуре и позже. И ещё одна важная особенность влияния китайского языка на японский: его письменный характер. В любую историческую эпоху знание китайского языка в Японии было знанием письменного языка, а говорить по-китайски не мог практически никто. Никогда не было значительного японско-китайского двуязычия [Loveday 1996: 213]. Поэтому даже тексты, созданные в Китае, читаться вслух могли лишь по-японски, а попытки японцев писать по-китайски неизбежно связывались с языковой интерференцией. Освоение китай-

ской культуры, включая языковую культуру, шло через книгу, а не через человеческое общение.

В течение VIII в. боролись две тенденции: писать на китайском языке и приспособить заимствованную письменность к своему языку. Две тенденции распределялись жанрово: на одном полюсе оказывалась максимально китаизированная по языку хроника «Нихон-сёки», писавшаяся по образцу китайских хроник. Японские авторы таких сочинений думали, что пишут на китайском языке, на деле это было не совсем так. На другом полюсе находился первый крупный литературный памятник — «Манъёсю», в котором большинство стихов сочинено по-японски, а для их записи использовали иероглифы, подобранные фонетически (так называемая манъёгана). Фрагменты такого рода записи встречаются и в других памятниках. Манъёгана — первый этап преобразования китайских иероглифов в японское фонетическое письмо — кану. Дальнейшая стандартизация и упрощение начертаний фонетических знаков шли ещё более столетия и привели к формированию в начале X в. двух основных видов каны — хираганы и катаканы, используемых до наших дней.

Если в VIII в. могли появляться памятники, в которых сосуществовали японский и японизированный китайский языки, то с IX—X вв. эти два языка окончательно разделились по функциям. Сформировались *камбун* и *вабун* (буквально соответственно 'китайское письмо' и 'японское письмо'). Их различие было одним из проявлений различия двух сосуществовавших в Японии культурных парадигм. Эталонной высокой культуры считался Китай, при этом период активных связей с Китаем закончился довольно быстро, а освоение китайской культуры шло лишь через книгу. Тексты на камбуне, как и предшествовавшие им тексты, отличались от собственно китайских: помимо особенностей, связанных с интерференцией, они отличались тем, что снабжались специальными знаками, позволявшими их читать по-японски. Непременным атрибутом камбуна были значки, указывавшие на добавление японских грамматических элементов, не имеющих параллелей в китайском языке, и на изменение порядка слов, сильно различающегося в двух языках. Камбун активно использовался на протяжении тысячелетия (с IX по XIX вв.) и структурно мало менялся, хотя могли меняться его жанровые характеристики. Всё это время составлялись иероглифические словари, рассчитанные именно на чтение камбуна, а не собственно китайских текстов [Suzuki 1993: 83]. Камбун в течение всего длительного периода своего су-

ществования был составной частью японской культуры, а не внешним явлением.

В эпоху Хэйан (IX—XII вв.) две культурные парадигмы распределялись, прежде всего, с точки зрения разграничения высокого и низкого. Такое разграничение не во всём совпадало с тем, к чему мы привыкли. Если в России издавна канцелярские тексты считались скорее низкими (в XVI—XVII вв. «приказный язык» отличался от господствовавшего в высоких сферах церковно-славянского языка, а в близкое нам время образованные люди презирали «канцелярит», по выражению К. Чуковского), то в Японии жанры императорских эдиктов и деловой переписки всегда относились к высоким. Здесь господствовал камбун, как и в сфере науки. А вот традиция поэзии на камбуне не получила значительного развития.

Вся сфера художественного творчества (с конца IX в. включавшая и прозу) считалась легким занятием, развлечением. Именно поэтому в нее были допущены женщины, ставшие авторами самых значительных прозаических произведений X—XI вв. («Повесть о Гэндзи», «Записки у изголовья», известные и у нас), немало было и женщин-поэтов. Уже тогда проявлялись значительные различия между мужской и женской речью, существующие в Японии даже сейчас. Во всех художественных жанрах господствовал *вабун*, тексты писались на чистой или почти чистой кане (для женщин считалось неприличным знать иероглифы), в лексике господствовали исконные слова (*ваго*) при очень небольшом числе заимствований из китайского языка (*канго*). Язык таких сочинений уже отличался от разговорного языка эпохи Хэйан, но полного расхождения (которое требовало бы, например, специального обучения *вабуну*) не было.

С XIII в. литература на *вабуне* (переставшая быть женской) значительно изменилась, в ней всё большее место занимали *канго*. Как писал Н. И. Конрад, в это время «идет упадок чисто японского языка: китаизмы внедряются в него всё глубже и глубже; значительно меняется самый строй речи, меняется и лексика; постепенно происходит слияние, взаимное приспособление двух языковых стихий, китайской и японской друг к другу. В результате мы получаем так называемый *канва-тёва-тай*, т. е. китайский и японский язык в их гармоническом сочетании. Этот язык в свое время также превратился в прекрасное орудие словесного искусства и дал целый ряд совершенных образцов художественной литературы, но только уже иного стилистического типа» [Конрад 1974: 237]. *Вабун* превращается

в *бунго* – письменный по преимуществу язык культуры, значительно отличавшийся от разговорных диалектов. Этот язык был жанрово разнообразен: помимо прозы и поэзии появилась драматургия, а буддийская литература стала сочиняться и на *бунго* наряду с *камбуном*. На *бунго* в основном писали, но было возможно и его устное функционирование: в театре, в богослужении, тогда как *камбун* мог быть только письменным языком. Если же возникала потребность тексты на *камбуне* читать вслух, их обычно произносили на *бунго*. *Бунго* и *камбун* были единственными общепонскими формами существования языка. Типологически их (в первую очередь, *бунго*) можно сопоставить с такими языками культуры как латынь, церковнославянский или санскрит. Но только в обособленной островной Японии язык культуры обслуживал лишь один этнос. И таких языков было даже два, поскольку *камбун* отличался от собственно китайского языка культуры (*вэньня*).

К тому времени значительное количество *канго* преобразовало систему японского языка. При этом не надо думать, что все *канго* – заимствования из китайского языка в готовом виде. Такая лексика составляет меньшинство данного слоя. Чтение иероглифа в японском языке, как правило, представляет собой корень (некоторые корни превратились в аффиксы). Эти корни обладают большим словообразовательным потенциалом, и в течение многих веков простым соположением корней создавались и создаются до сих пор новые слова, тесно связанные с их иероглифическим написанием. Большинство *канго* появились в Японии, нередко они либо неизвестны в Китае, либо заимствованы в китайский язык из японского.

Хотя *канго* подверглись фонетической адаптации (в частности, по сравнению с китайским языком исчезли тоны, отпало большинство конечно-слоговых согласных), а грамматически стали оформляться по правилам японского синтаксиса, эта адаптация не дошла до такой степени, чтобы они стали фонетически или грамматически неотличимы от *ваго*. В области фонетики в связи с появлением *канго* в японском языке возникли геминация согласных, их палатализация, конечно-слоговая носовая фонема, долгота гласных, дифтонги. Еще более существенны различия в фонетической структуре корней и аффиксов: эта структура для *канго* является исключительно жесткой, их общее количество (разумеется, без различения омонимов) крайне невелико: около 800 единиц [Алпатов, Вардуть, Старостин 2000: 102–116]. Не всегда, но очень часто по фонетической

структуре слова можно определить, относится ли оно к канго или ваго. Различия сохраняются и в грамматике. Есть грамматические элементы китайского происхождения, хотя их немного. Но важнее то, что в подсистеме канго легко образуются так называемые сцепления — последовательности корней сколь угодно большой длины, часто окказиональные; вопрос о том, считать ли их словосочетаниями или сложными словами, весьма запутан в японистике. По правилам японского синтаксиса сцепления оформляются лишь как единый член предложения. О лингвистических свойствах канго см. [Алпатов 1976; 2002].

Китайское влияние, прежде всего, было лексическим, однако сохранялось и немало исконных слов, а грамматика в основном (исключая сцепления) оставалась японской. Но самые очевидные различия между двумя подсистемами, существующие со средних веков до нашего времени, — это различия жанрово-стилистические, тесно связанные с японской культурой. В большинстве случаев ваго — бытовые, обиходные слова, а канго — слова книжные, свойственные стилям, связанным с культурными сферами, и в большинстве неотделимые от иероглифического написания. В бытовую же речь канго проникали лишь в малой степени. В целом, как отмечают исследователи, при определенных изменениях под влиянием китайского языка японский язык остался самим собой [Stanlaw 2004: 126].

Следует учитывать, что язык — один из немногих действительно исконных компонентов японской культуры. Как известно, в Японию из Китая (прямо или чаще через Корею) пришли и государственное устройство, и буддизм, и многие элементы культуры, считающиеся сейчас у нас и на Западе специфически японскими (от боевых искусств до икебаны и чайной церемонии). Заимствована была иероглифическая письменность, но всё-таки язык остался японским, да и письменность значительно японизировалась благодаря кане. Этот факт значительно повлиял на языковые воззрения японцев, о чём будет говориться в следующей главе.

В конце XVI в. в Японию начали проникать первые европейцы, в основном португальцы, а также испанцы, распространявшие христианство и западную материальную культуру. Это событие значительно повлияло на японскую языковую культуру в двух отношениях. Во-первых, в Японии впервые осознали существование других языков помимо японского и китайского (ранее благодаря буддизму знали о существовании санскрита, но он влиял на японский язык лишь через

китайский, а корейский язык имел влияние на японский в дописьменный период, но позже стал игнорироваться). Португальцы переводили на японский язык христианскую и некоторую другую литературу (например, басни Эзопа). Это были первые в Японии переводы не с китайского языка, не связанные с камбуном [Suzuki N. 2007: 67]. Впервые тогда японцы познакомились и с латинским письмом. Во-вторых, в языке появились первые заимствования из западных языков. Они делились на два класса: торговую и религиозную лексику; торговая лексика (только имена) записывалась иероглифами, а религиозная (включавшая и глаголы, прилагательные: *молиться*, *невинный* и др.) латиницей, поскольку ее надо было строго отделять от ваго и канго [Matsuoka 1993: 138–144].

Но первое знакомство с европейской культурой оказалось непродолжительным. Борьба за централизацию страны и против иноземной экспансии привела к тому, что захватившая власть в начале XVII в. династия военных правителей (сёгунов) Токугава запретила христианство, изгнала европейцев и превратила Японию в закрытую страну. Японцы не могли покидать Японию, а иностранцы (преимущественно голландцы) допускались туда крайне ограниченно, не имея права общаться с японцами. Такая ситуация продолжалась более двух столетий. Христианская лексика исчезла (после разрешения христианства во второй половине XIX в. она создавалась заново), но торговая лексика во многом сохранилась. Пришедшие из португальского слова *pan* 'хлеб', *botan* 'пуговица', *birodo* 'бархат' живут в японском языке более четырех столетий, и даже название специфически японского блюда *tempura* восходит к португальскому *tempero* 'умеренный'. Заимствование слов из западных языков, более всего из нидерландского, продолжалось и в период закрытой Японии. Это были либо также слова торговой лексики (существующие до сих пор *koohii* 'кофе', *garasu* 'стекло' и др.), либо термины наук, литература по которым допускалась к ввозу в Японию, в частности, медицины. Отмечают, что уже в те годы в Японии выработалась привычка к европейским заимствованиям [Matsuoka 1993: 151].

В культурной области период закрытой Японии стал временем активного развития литературы, искусства и национальной науки. Именно в это время складывалась национальная школа ученых *koku-gaku* (буквально *наука страны*), впервые в японской истории поставившая вопрос о национальной самобытности и исконных элементах культуры японцев. Эти ученые обратились к исконным компонен-

там культуры, которых оказалось лишь два: синтоизм и язык. В рамках этой школы сформировалась национальная традиция японского языкознания, независимая от китайской традиции; см. об этом [Алпатов, Басс, Фомин 1981]. Ученые того времени игнорировали канго, считая их чуждыми «японскому духу», занимаясь исключительно ваго.

1.3. Эпоха американского и европейского влияния

В 1854 г. вторжение американской военно-морской эскадры прекратило изоляцию Японии, после чего туда стали активно проникать западные товары и идеи. Под влиянием этого в 1867–1868 гг. произошла так называемая *Meiji-ishin*, что у нас переводят или как «революция Мэйдзи», или (буквально) как «реставрация Мэйдзи» (формально переворот выглядел как реставрация императорской власти). Началась эпоха Мэйдзи (1868–1912), названная по имени правившего тогда императора. Был взят курс на развитие капитализма и на освоение европейской культуры. За несколько десятилетий японское общество коренным образом изменилось.

Эти процессы не могли не повлиять и на область языка. Прежние литературные языки, особенно камбун, оказались непригодными для новой ситуации. Нужен был новый, единый и общепонятный язык. Подобные процессы происходили во многих странах: ср. переход от латыни к «вульгарным» языкам в Европе, от церковнославянского языка к русскому литературному в России, от вэньяня к путунхуа в Китае. Особенностью Японии было, однако, то, что этот процесс был пройден очень быстро, менее чем за половину столетия.

На первом этапе отказались от камбуна: он перестал использоваться в официальной документации, а к концу XIX в., после японо-китайской войны 1894–1895 гг. значительно сократилось его преподавание. Именно тогда традиционное обучение китайской учености окончательно ушло в прошлое [Sanada 2002: 486–487]. Санада Харуко отмечает, что влияние камбуна, проявлявшееся в употреблении канго, еще заметно у писателей, родившихся в 60-е гг. XIX в. (Нацумэ Сосэки, Мори Огай), но исчезает у следующего поколения писателей (Сига Наоя, Акутагава Рюносукэ), уже свободно им не владевших [Sanada 2002: 481]. Обучение камбуну в средней школе сохранилось до наших дней, но им в лучшем случае владеют лишь пассивно, новые тексты не создаются.

Сфера употребления бунго в начале периода Мэйдзи даже расширилась, поскольку на нем стали писать деловые документы, а введе-

ние всеобщей системы школьного обучения сделало его общим достоянием. Однако к середине 80-х гг. XIX в. пришло осознание необходимости нового литературного языка на разговорной основе [Gottlieb 2005: 8]. Борьба за такой язык, по функции сходный с уже сложившимися к тому времени европейскими национальными языками, шла и сверху, и снизу. Писатели и языковеды с 80-х гг. XIX в. активно выступали за *gembun-itchi*, то есть за единство разговорного и письменного языка, деятели этого движения создали образцы художественной прозы на новом языке. Подробнее об этом движении см. [Конрад 1954; Конрад 1960]. Но и японская власть к концу века осознала важность данной проблемы. При Министерстве просвещения был в 1902 г. сформирован Совет по изучению японского языка (*Kokugo-choosa-iinkai*), к деятельности которого были привлечены видные лингвисты, в частности, Уэда Кадзутоси (1867–1937), учившийся в Европе и ориентировавшийся на западный опыт [Gottlieb 2005: 55–58]. Новый литературный язык на разговорной основе в противоположность бунго получил наименование *koogo* (буквально ‘устный язык’). Первая нормативная грамматика этого языка появилась в 1916 г.

Этот язык постепенно охватил все культурные сферы. Довольно быстро на него перешли художественная проза и появившаяся во второй половине XIX в. пресса, а уже в XX в. — радио. Гораздо сложнее шел переход на него в сфере науки, в поэзии. Устойчивее всего прежний литературный язык (бунго) оставался в сфере деловой письменности. Всю первую половину XX в. бунго «долго и нераздельно властвовал в официальной и деловой сфере, где все писалось по его нормам, начиная с текста закона и кончая квитанцией о приеме белья в прачечную» [Конрад 1954: 26]. Лишь после 1945 г. и здесь началось использование современного литературного языка. Подробнее см. [Конрад 1960; Алпатов 1995].

Специально рассмотрим один частный вопрос языковой культуры. В Европе, даже в самодержавной России тексты, созданные царями и императорами, не считались образцами «хорошего» языка (впрочем, во Франции времен Людовика XIV так рассматривалась разговорная речь короля, но это не относилось к королевским указам). А в Японии вплоть до второй мировой войны во всех школах выучивали наизусть написанный на бунго указ императора Мэйдзи об образовании, установивший всеобщую систему начального школьного обучения.

Причин, как нам кажется, было по крайней мере две. Во-первых, в России монарх (реально обладавший гораздо большей властью, чем японский император) не был сакральной фигурой. Это был «сильный и славный», но человек, и от него нельзя было требовать, например, обязательного литературного таланта. В Японии же до 1945 г. официально принималась концепция божественного происхождения императора, и всё, исходящее от него, по определению считалось высшим.

Другая причина была в разной иерархии жанров. В России, как и в Европе, самыми престижными текстами сначала считались религиозные, потом художественные, а язык официальных документов всегда рассматривался как не очень «высокий», даже если исходил из высших сфер. В Японии же в иерархии жанров выше всего стоял язык официальных текстов, прежде всего, исходящих от императора. Показательно, что их писали на самом престижном из использовавшихся языков. Веками их писали на камбуна, который ценился выше, чем бунго, а после отмены камбуна — на бунго.

Другим процессом, активно развернувшимся начиная с эпохи Мэйдзи, стало освоение западной культуры, частью которого стало влияние на японский язык западных языков, прежде всего английского. Эта проблема сразу приобрела два аспекта, которые в Японии весь последующий период не шли параллельно друг другу: освоение западных языков и заимствования из этих языков в японский.

С 50–60-х гг. XIX в. начался период интенсивной европеизации Японии, сначала большей частью через устное общение с бывавшими там иностранцами, особенно с американцами и англичанами, число которых резко возросло. Такое общение естественно привело к формированию японо-английских пиджинов, распространившихся в Иокогаме и других портовых городах [Stanlaw 2004: 57–59]. До сих пор в японском языке сохранились слова, пришедшие в это время из английского языка устным путем и воспринятые на слух, вроде *purin* ‘пудинг’ из *pudding* или *mishin* ‘швейная машина’ из *machine*.

Однако такой вид культурных контактов не стал определяющим, а пиджины к началу XX в. постепенно исчезли. Снова они возродятся, уже на другой основе, в период оккупации для общения американских военных с местным населением (так называемый бамбуковый английский), но и тогда окажутся недолговечными [Stanlaw 2004: 70–72]. Ведущую роль уже в эпоху Мэйдзи, как и позже, стало играть освоение западной книжной культуры, связанное с обучением ино-

странным языкам в учебных заведениях и письменными заимствованиями.

Существовало разное понимание границ этого освоения, в том числе и в языковой области. Для некоторых деятелей японской культуры европеизация казалась неотделимой от овладения западными языками, в первую очередь английским. В крайнем варианте предлагалось отказаться от японского языка, в более умеренном варианте речь шла о массовом японо-английском двуязычии. До начала XX в. во впервые созданных в Японии университетах западного типа преподавание частично или даже полностью шло на английском языке. Видный государственный деятель эпохи Мэйдзи Мори Аринори все-таки думал о замене японского языка английским и даже переписывался по этому поводу с крупнейшим американским лингвистом тех лет Д. Уитни, который отнесся к таким планам скептически [Stanlaw 2004: 64–65].

Однако на деле не только не реализовались подобные утопии, но не сложилось и массовое двуязычие; иностранные языки, в это время не преподававшиеся в школе и изучавшиеся лишь в вузах, остались достоянием узкого слоя культурной элиты; по мнению Судзуки Такао, их до 1945 г. знали 1–2 % населения [Suzuki 2006: 232]. Победил более естественный для Японии вариант, при котором не происходило резкого обрыва традиций, а заимствованные знания становились составной частью японской культуры. Так это в прошлом произошло с китайскими знаниями, теперь наступил черед натурализации западной культуры, включая языковую культуру. Стояла задача освоить новые понятия, выразив их на японском языке. Для этого существовали два способа: прямое заимствование и калькирование с помощью вновь создаваемых или переосмысляемых канго.

В период с 60-х гг. XIX в. по 20-е гг. XX в. в японский язык вошло много слов, заимствованных из западных языков, в этот период они стали стандартно именоваться *gairaigo*, буквально 'слова, пришедшие извне', отделяясь и от ваго, и от канго. При этом в Японии осваивалась культура разных стран, а заимствования из того или иного языка отражали престиж соответствующей страны в той или иной области: Франции в моде, Италии в музыке, Германии в философии [Shibata 1993: 19]. Традиция ориентироваться на Германию в медицине сохранялась очень долго, и даже в 70-е гг. XX в. немецкий язык в Японии мог играть роль медицинской латыни (мы видели рецепты на этом языке); естественно, в японском языке в данной сфере много

заимствований из него. Среди влиятельных языков был и русский (см. главу 6). Но уже к концу эпохи Мэйдзи 75 % всех гайрайго составляли заимствования из английского языка [Stanlaw 2004: 68]. Так что преобладающее влияние этого языка на японский обозначилось задолго до оккупации. При этом Япония не была ни британской или американской колонией, ни страной, зависимой от Великобритании или США, а мировая роль английского языка тогда еще не была столь значима, как позже. Но Япония уже в конце XIX в. и в первой половине XX в. столкнулась с процессами, которые в наши дни принято называть глобализацией. По выражению Судзуки Такао, во времена Мэйдзи *kangaku* (наука, изучавшая китайские тексты и китайскую культуру) превратилась в *eigaku* (науку об английских текстах и англоязычной культуре) [Suzuki 2006: 230]. Посетивший Японию в 1926 и 1932 гг. советский писатель Б. А. Пильняк замечал, что Япония не европеизируется, а американизируется [Пильняк 1935: 76]. Отличие данного периода от послевоенной эпохи, однако, состояло в том, что заимствования могли приходиться в японский язык не только из американского, но и из британского варианта английского языка.

Однако прямое заимствование оказывалось не единственным способом образования новой лексики. С ним, особенно в первые десятилетия европеизации, конкурировало использование уже существующих средств своего языка, то есть создание калек или слов, отражавших новое понятие в своей морфемной структуре. Для этого использовались почти исключительно канго. К этому времени японская культура уже давно обособилась от китайской, и канго использовались в Японии вне какого-либо отношения к Китаю, как органичные элементы своего языка, удобные для образования новой культурной лексики.

Причин удобства канго для этих целей было как минимум две. Во-первых, корни китайского происхождения кратки и обладают почти безграничными возможностями комбинирования, из них легко создаются сложные слова, нередко окказиональные, или последовательно сколь угодно большой длины — сцепления, упоминавшиеся выше. Значения сложных канго часто прозрачны: если знать, что *raku* значит 'падать', *ka* — 'низ', а *san* — 'зонт', то нетрудно догадаться, что *rakkasan* из *raku* + *ka* + *san* значит 'парашют'. А корни ваго обычно длиннее и имеют ограниченные словообразовательные возможности.

Вторая причина — культурно-стилистическая. В большинстве случаев ваго — бытовые, обиходные слова, иногда слова, связанные с

традиционными ремеслами, искусствами, в том числе с поэзией, в них сильны эмоциональные компоненты значения, а канго — слова книжные, свойственные стилям, связанным с культурными сферами. Такое различие сложилось исторически и представляет собой инвариант японской культуры на протяжении многих веков. Как указывает современный японский автор, ваго создают ощущение привычности и укорененности того или иного понятия, тогда как канго ассоциируются с новым, ранее не виданным. Именно поэтому, по его мнению, ваго не применялись в эпоху Мэйдзи для формирования новой культурной лексики, тогда как канго были одновременно незнакомы и понятны по значению; играла роль и эмоциональная нейтральность канго [Takiura 2007в: 7–8]. К тому же создание терминов — сложных канго, особенно в первые десятилетия европеизации, когда еще сохранялось влияние камбуна, опиралось на многовековую традицию создания таких терминов в камбуне, часто использовались те же самые модели [Sotoyama 1993: 55; Sanada 2002: 476–480].

В данный исторический период окончательно сложилась такая важная особенность японского языка как обилие синонимов (точнее, квазисинонимов): имеется много пар сходных по значению ваго и канго. Часто они либо записываются тем же иероглифом, по-разному читаемым, либо ваго пишется одним иероглифом, а канго — двумя иероглифами, один из которых тот же самый. Однако замена одного синонима на другой чаще всего невозможна в связи со стилистическими факторами. Слишком часто близкие по значению канго и ваго относятся к разным сферам. Например, эквивалентом русского *сердце* обычно считается японское ваго *kokoro*. Однако это обиходное слово издавна соответствовало переносным значениям соответствующего русского слова (переводиться может и как *дух* или *душа*). Сердце же как человеческий анатомический орган — канго *shinzo* (слово, появившееся лишь в XIX в.). Если речь идет о конкретном человеке, то обычно употребление ваго *hito*, но человек как биологический вид — только канго *ningen*. Ваго *kotoba* может значить и *слово*, и *речь*, и *язык*, но в обиходной речи, а не в качестве лингвистического термина. В терминологическом же значении *слово* — *go* или *tango*, *язык* — *gen*, всё это канго. При этом *kokoro* и *skin* в *shinzo* пишутся одним и тем же иероглифом, как и *hito* и *nin* в *ningen*, *kotoba* и *gen* в *gen*. Среди канго есть и обиходные, часто обозначающие явления культуры, известные каждому носителю языка: *denwa* 'телефон', *sooshiki* 'похороны' и др., но они составляют меньшинство. А среди

культурной, в том числе терминологической лексики встречаются лишь отдельные ваго: пример — *kabu* — (биржевая и пр.) ‘акция’ (исходное значение — *пень*).

Однако канго обладают одним большим недостатком: они часто с трудом понятны на слух, поскольку в их подсистеме очень велика омофония. Например, в «Большом японско-русском словаре» имеется 23 слова с разными значениями и одинаковым звучанием *kooskoo* [БЯРС, 1: 484]. На письме все эти слова трудностей не вызывают, поскольку пишутся разными иероглифами. Это не было недостатком в чисто письменном камбуне и не особенно затрудняло освоение европейской культуры в эпоху Мэйдзи, когда оно шло преимущественно книжным путем. Но распространение устных средств передачи информации, в том числе появившегося в 20-е гг. XX в. радио, стало ограничивать применение сложных канго.

До 20-х гг. заимствования и вновь созданные канго постоянно конкурировали между собой. Но в целом имелось не всегда последовательно проводившееся разграничение: заимствования чаще обозначали новые для японцев предметы материальной и бытовой культуры, а новая научная, политическая и пр. культурная лексика большей частью формировалась путем создания новых канго.

В 20-х гг. XX в. началась эпоха господства японского национализма и милитаризма. В этот период языковая норма отличалась крайним консерватизмом, и терпели неудачу все попытки ее модернизации (например, реформирования орфографии нового литературного языка, основанной в то время на орфографии бунго) [Kurashima 1997, 1: 53–55]. Это была и эпоха ограничения заимствований, достигшая предела в годы войны, когда запрещались заимствования из иностранных языков, кроме языков союзников Японии — немецкого и итальянского [Gengo-seikatsu, 1984, 7: 76]. Например, для бейсбола (игра, популярная там примерно так же, как футбол у нас) было тогда придумано канго *yakyuu* (составлено из морфем со значением ‘поле’ и ‘мяч’) которое хорошо прижилось; впрочем, все прочие бейсбольные термины так и остались американскими по происхождению.

После поражения Японии во второй мировой войне, во время американской оккупации (1945–1952) начался новый этап европеизации японской культуры и японского языка, принявший вид американизации (он будет рассмотрен в главе 6). После войны также прошел ряд реформ литературного языка, в частности, орфографичес-

ких, в большинстве разработанных еще до войны, но осуществленных лишь в эпоху социальных перемен (ср. сходную историю орфографической реформы в России). О реформах и их последствиях для современной Японии будет сказано в главах 7 и 9.

Таким образом, могут быть выделены некоторые константы японской языковой культуры, в ряде случаев несколько видоизменившиеся в последние полтора столетия. Это географическая и генетическая обособленность японского языка, необычно долгое совпадение государственных, этнических и языковых границ, длительность и существенность контактов чисто письменного характера с китайским языком, формирование внутри системы языка подсистем ваго и канго, к которым в последние столетия добавилась третья подсистема гайрайго. К ним могут быть добавлены и такие константы как роль этикета в японской языковой культуре и особое место в ней письменности; их, однако, целесообразно рассмотреть в отдельных главах (соответственно 7 и 9).

Как известно, бытие определяет сознание, хотя сознание может отражать бытие весьма неадекватно. Кратко перечисленные в данной главе объективные, исторически сформировавшиеся рамки, в которых существовал и существует японский язык, отражаются не только в японской науке и науке других стран, но и в воззрениях, суждениях и стереотипах самих носителей языка. Все эти отражения также являются частью языковой культуры. Этот вопрос мы рассмотрим в следующей главе.

Глава 2

ВОЗЗРЕНИЯ ЯПОНЦЕВ НА ЯЗЫК. ЯЗЫКОВЫЕ МИФЫ

В данной главе рассматриваются массовые представления японцев (как обычных людей, так и многих профессиональных лингвистов) о своем языке. Языковые мифы и предрассудки отражаются не только в бытовых представлениях японцев, но нередко и в сочинениях, претендующих на научный статус. Эти сочинения входят в число многочисленных публикаций в области так называемого *nihonjinron*, что буквально значит 'учение о японцах'. Они включают в себя разнообразную гуманитарную проблематику, включая этнографическую, культурологическую, лингвистическую, фольклористическую, историческую; иногда даже затрагиваются проблемы антропологии (в традиционном для России смысле этого термина) или нейропсихологии. Число таких публикаций очень значительно: лишь за период с 1976 по 1978 гг. вышло почти 200 книг в этой области [Dale 1986: 15]. Работы в данной области отличаются большой неоднородностью: откровенное мифотворчество соседствует в них с интересными фактами, а иногда и с разумными наблюдениями. Как выразился один американский японист, такие работы представляют собой смешение фольклора с научной информацией [Johnson 1993: 96]. О них нам придется говорить и в следующей главе в связи с вопросом о японской языковой картине мира.

Конечно, в таких случаях трудно разграничить представления, возникающие стихийно, на бытовом уровне (в Японии они могут отражаться и у профессионалов), и влияние политики, сознательно направленной на формирование тех или иных массовых представлений. Ряд западных исследователей считают работы по *nihonjinron* исключительно средством пропаганды японских правящих кругов, продолжающим традиции времен национализма и милитаризма. Особо последовательно такая точка зрения проведена в двух книгах,

появившихся в 80-е гг. [Miller 1982; Dale 1986]. Оба автора (американец и англичанин) резко оценивают всё данное направление, считая его антинаучным. Впрочем, они по-разному характеризуют цели политики японской власти: Р. Э. Миллер акцентирует внимание читателя на японском национализме, доходящем до расизма, а П. Дейл, находящийся, как указывается в предисловии к книге [Stockwin 1986: 5], под влиянием неомарксизма, видит суть проблемы в поддержании социального господства. Резко отрицательное отношение к *nihonjinron* видно и в других исследованиях [Моеран 1989: 14–15; Stanlaw 2004: 13; Gottlieb 2005: 4–5]. С другой стороны, вне Японии распространено и некритическое отношение к такого рода работам, примером может служить статья [Wierzbicka 1991], к которой мы вернемся в следующей главе.

В критике японских работ, посвященных особенностям японской языковой культуры или картинам мира, безусловно, есть большая доля истины. Бесспорно то, что они формируют (прямо или косвенно через школу или средства массовой информации) воззрения обычных японцев на язык, создают и поддерживают языковые мифы. Но представляется, что процесс является более сложным и, что важно, двусторонним. Сочинения по *nihonjinron* не только формируют воззрения и мифы, но и отражают некоторые стихийные, бытовые взгляды носителей языка, многие из которых восходят к временам, когда никакого *nihonjinron* не существовало (этот жанр в современном виде сложился примерно в конце 60-х гг. XX в.). Эти взгляды, как и сами сочинения по *nihonjinron*, отражают, как признает и Р. Э. Миллер [Miller 1982: 21], некоторую «крупницу правды», но фантастически преувеличенную и сильно искаженную. Безусловно, те исторически сложившиеся свойства языковой культуры, о которых шла речь в предыдущей главе, как-то осознаются ее носителями. И в их представлениях могут присутствовать и отражения реальности, и откровенная мифология, и желание верить в неповторимость и особые свойства своего народа.

Рассмотрим некоторые стандартные представления японцев о своем языке и своей культуре.

2.1. Важность языковых проблем

Среди стран мира Япония выделяется массовым интересом своих жителей к вопросам языка. На это обращали внимание наблюдатели из других стран. Р. Э. Миллер писал, что нормальное отноше-

ние к языку — не замечать его; мы все настолько заняты, что не можем терять время, обращая внимание на собственный язык; лишь японцы да еще французы поступают иначе [Miller 1982: 3–4]. Отмечают даже, что в ничего не значащей беседе японцы могут говорить не только о погоде, но и о языке [Shibata 1984: 2]. Рассуждения про язык встречаются в рекламе. Ведущие газеты вроде «Асахи» могут посвящать передовые статьи обсуждению вопросов орфографии. По первому каналу телевидения NHK в лучшее время, в 10 часов вечера по субботам могут пускать передачи о японском языке и даже лингвистические сериалы (в 1985 г. шел сериал «Первый год японского языка», где показывалось, как семья конца XIX в., поначалу говорившая на разных диалектах, выработала общий язык). В телешоу именитый профессор лингвистики может рассказывать веселые истории об иероглифах. Лингвистическая литература, даже специальная, хорошо раскупается и иногда возглавляет списки бестселлеров для non-fiction. Всё это не похоже на то, к чему привыкли и в США, и в России.

Особое внимание к вопросам языка характерно для японских работ, посвященных национальной культуре, уже давно, по крайней мере, со времени первой национальной школы ученых *kokugaku* XVII–XVIII вв. Всегда сказывалось то, что язык — один из немногих действительно исконных компонентов японской культуры. На это обратили внимание еще ученые *kokugaku*, но особое значение вопросы языка приобрели, по мнению Р. Э. Миллера, в годы американской оккупации, тогда окончательно сложился японский языковой миф [Miller 1982: 36]. Многим тогда казалось, что вся довоенная японская культура дискредитирована, и надо целиком перейти к западной системе ценностей. Известный писатель Сига Наоя даже считал желательным отказаться от японского языка (что, как упоминалось выше, предлагалось и в годы вестернизации в XIX в.). Такие предложения, конечно, нереальные, и сейчас любят вспоминать японские лингвисты. Однако тогда победили иные тенденции: для выхода из духовного кризиса полезно было опереться на какие-то политически нейтральные духовные ценности. И такой ценностью мог быть язык, который к тому же оккупанты с трудом усваивали, обычно не проявляя интереса к его изучению (черта, вообще свойственная американцам за границей). Тогда японцы могли бы сказать о себе то, что в других исторических условиях сказал В. В. Набоков: «Всё, что есть у меня, — мой язык!». В результате представления японцев о

своим языком как национальным достоянием, не имеющим аналогов в мире и недоступным для иностранцев, еще более укрепились. С усилением экономической мощи Японии языковой компонент японского национализма дополнился многими другими, но не исчез, что отражается в публикациях по *nihonjinron*. Как будет сказано в следующей главе, нередко из внутренних свойств японского языка, как из базиса, японские авторы могут выводить особенности структуры своего общества.

2.2. Уникальность японского языка

Всё это — внимание не к языку вообще, а именно к своему языку, на иностранные языки оно не распространяется. Это внимание проявляется даже в названии собственного языка. Точнее, таких названий два. Обычно в том или ином языке его собственное название производно от названия государства и/или господствующего этноса. Япония — *Nihon* (или *Nippon*), язык как компонент сложных слов — *go*, естественно считать, что японский язык — *nihongo*. И такое название действительно есть, именно оно используется, если данный язык перечисляется в ряду других языков мира или противопоставляется другим языкам; оно единственно возможно, когда говорится об освоении этого языка иностранцами. Но чаще японцы называют свой язык *kokugo*, буквально *язык страны*. Этот термин не древний, как иногда думают, он появился лишь в эпоху Мэйдзи, когда Япония впервые включилась в международную жизнь [Kurashima 1997, 1: i]; до того японцам вообще не нужно было специально называть свой язык: он был просто язык (*kotoba*). Но и тогда, когда это слово стало важно, в его внутренней форме отразилось представление о том, что японский язык — не один из языков мира, а нечто особое. Как указывает австралийская японистка Н. Готтлиб, если речь идет о японском языке как иностранном, он будет *nihongo*, если о родном языке — он *kokugo* [Gottlieb 2005: 15]. По мнению Хага Ясуси, если *nihongo* и стоящие с ним в одном ряду названия имеют объективное значение, то значение слова *kokugo* субъективно («наш» язык) [Haga 2004: 33].

Вопрос о соотношении названий *nihongo* и *kokugo* в последнее время активно обсуждается в Японии, причем к ним относятся по-разному. Сторонники именованья *kokugo* пишут, что для японцев это не столько язык государства, сколько свой, материнский язык [Haga 2004: 33], часть самих себя [Ikegami 2000: 3]. Но у этого слова есть и противники, считающие, что в нем есть оттенок национализма

[Endoo 1995: 22]. Резко против него выступает Курасима Нагамаса, связывающий обозначение языка как *kokugo* с эпохой довоенного национализма и милитаризма и считающий его несовместимым с интернационализацией Японии; по его мнению, пришло время переходить от *kokugo* к *nihongo* [Kurashima 1997, 1: vi]. Он отмечает и то, что если в японской школе до сих пор господствует название *kokugo*, то в ряде университетов курсы по японскому языку начинают переименовываться в курсы *nihongo* [Kurashima 1997, 1: viii] (об этом пишет и Н. Готтлиб [Gottlieb 2005: 16]). В любом случае можно согласиться с Курасима в том, что для японца больше гордости в обозначении своего языка именно как *kokugo* [Kurashima 1997, 1: iii].

Особое внимание японцев к своему языку тесно связано с постоянным ощущением его уникальности. Об этом пишут многие японские языковеды, среди которых особо следует отметить патриарха современной японской социолингвистики Судзуки Такао (р. 1926), см., в частности, его недавнюю книгу «Сила языка» [Suzuki 2006]. Отмечают такие представления, обычно с отрицательным знаком, и иностранные авторы [Моегап 1989: 15].

Судзуки пишет, что Япония уникальна среди развитых стран мира, поскольку среди них более нет ни одной страны, где за 1500 лет один и тот же народ живет на одной и той же территории, защищенной морем, и говорит на одном и том же языке [Suzuki 2006: 19–20]. По его мнению, для англичан «Беовульф» — не вполне национальный памятник, так как английский язык после норманнского завоевания сильно изменился, тогда как близкое к нему по времени «Манъёсю» для любого японца — свой памятник [Suzuki 2006: 150]. А Хага Ясуси считает, что если в Европе национальные языки сложились в последние столетия, то японский язык стал национальным намного раньше [Haga 2004: 30].

Действительно, как указывалось в первой главе, редко где так, как в Японии, совпадают множество носителей языка и население страны. И такому совпадению уже почти две тысячи лет. Как раз в наши дни оно стало нарушаться (см. главу 6). Подобная ситуация не совсем уникальна (ср., например, Исландию), но и не так часта.

Согласно традиционным японским представлениям, быть японцем, жить в Японии и говорить по-японски — одно и то же. Это, конечно, не так, но совпадение больше, чем для других крупных языков мира. С одной стороны, из 126 миллионов жителей Японии люди, для которых родной язык — не японский, составляют меньше 1 %

населения. С другой стороны, по-японски говорят и пишут почти исключительно в Японии; есть, правда, общины японских эмигрантов в США или Бразилии, но и там этот язык во многом вытеснен английским или португальским. Как выше отмечалось, чисто лингвистические различия между японскими диалектами могут быть значительными, дело иногда доходит до полного взаимного непонимания (особенно это относится к диалектам островов Рюкю), но всё равно носитель каждого из диалектов — японец, и единство языка как важнейшего признака японской нации всеми осознается. Ощущению отдельности, в том числе языковой, способствовало изолированное положение островной Японии.

Важно для японского языкового сознания и то, что японский язык изолирован не только географически, но и лингвистически, не имея близко родственных языков. Правда, в Японии в последние десятилетия появился ранее отсутствовавший интерес к «поискам корней», его появление иногда связывают с распространением с 60–70-х гг. поездок японцев за границу [Моегап 1989: 44]. И об алтайских, и об австронезийских прародителях иногда вспоминают. На ЭКСПО-85 в Японии был построен специальный павильон для показа фильма о том, как японская нация формировалась из смешения мирных рыбаков с воинственными кочевниками, осевшими на завоеванных островах. Впрочем, те или иные сведения о реальной древнейшей истории (основанные обычно на американских публикациях, работы С. А. Старостина там неизвестны) могут соседствовать с откровенной фантастикой. В 70-е гг. на шумела квазинаучная книга о языке лепча (реально существующий язык тибето-бирманской группы в Гималаях). В ней на основе нескольких случайных или вымышленных созвучий доказывалось даже не родство этого языка с японским, но его тождество древнеяпонскому языку «Маньёсю». Получила популярность несколькими годами позже и столь же бездоказательная версия о родстве японцев и дравидов. Отмечают, что такие публикации способствовали буму интереса широкой публики к лингвистике, который наблюдался в Японии в 70-х гг. [Kurashima 1997, 2: 117–118].

Но, безусловно, преобладают представления о языковом одиночестве японцев в мире. Помимо отсутствия близкородственных языков влияет и постоянное в Японии со времен Мэйдзи стремление сопоставлять собственную ситуацию с западной и ни с какой иной. Японские авторы постоянно указывают, что все, кроме Японии, страны «семерки», а затем «восьмерки» обладают родственными друг

другу языками (а также общими расовыми признаками и христианской религией), и лишь Япония выпадает из ряда. Судзуки Такао даже пишет, что большинство языков, культур, религий родственны и лишь мы, японцы, одиноки [Suzuki 2006: 73–74]. О мире за пределами узкого круга развитых стран при этом могут и не вспоминать.

Даже в области языковой структуры для многих японских авторов значимо лишь отличие японского языка от английского языка и в меньшей степени от других европейских языков. По грамматическому строю японского языка сохраняется довольно значительное сходство с другими алтайскими языками (хотя общие слова разошлись настолько, что с трудом опознаются). Тот же порядок слов, близки синтаксис и морфологические категории. Но это сходство массовым сознанием игнорируется: «не те» языки.

В целом, безусловно, подчеркивание и преувеличение уникальности своего языка (как и своей культуры в целом) составляет одно из постоянных свойств японских представлений о мире [Моеган 1989: 15]. Впрочем, отмечают, что и, например, американцы в своей массе плохо знают историю и склонны всё происходящее в своей стране считать беспрецедентным [Lakoff 2003: 40].

2.3. Преувеличение трудностей своего языка

Из многих свойств японского языка выделяется одно: «Японский язык очень труден»; естественно под трудностью имеется в виду трудность для жителей США, носителей английского языка. Крупный современный японо-американский лингвист Сибатани Масаёси даже посвятил раздел своей японской грамматики разоблачению этого, как он считает, мифа [Shibatani 1990: 89–90]. Массовость подобных представлений отмечена и в работах самых последних лет [Suzuki 2006: 46].

Истоки подобных идей можно видеть в древности: японцы жили обособленно, и их языком редко овладевали иностранцы. В конце XIX в. один из первых английских специалистов по Японии Б. Х. Чемберлен писал, что японцы смотрят на знающих их язык европейцев как на говорящих обезьян, цитируется по [Miller 1982: 77]. А после поражения 1945 г., когда страна впервые за всю свою историю подверглась оккупации, и японцы впервые в массовом порядке столкнулись с американцами, они заметили, что завоеватели не могли, а обычно и не желали осваивать язык побежденных. Отмечают и то, что сами американцы и европейцы и в эпоху Мэйдзи, и после 1945 г. очень

часто считали, что не могут овладеть японским языком, предпочитая в случае крайней необходимости обходиться пиджинами; сами же японцы слишком легко с этим согласились [Stanlaw 2004: 276].

В наши же дни в подобных взглядах отражается, конечно, представление современных японцев о своей причастности к миру развитых государств, в котором господствует английский и имеются еще некоторые другие языки. Но из этих языков, разумеется, японский язык, единственный не индоевропейский язык в «восьмерке», наименее похож на все остальные. Очевидна сложность иероглифов, непохожа грамматика, да и звучит язык не по западному. Даже значительное число английских заимствований не сильно облегчает изучение японского языка, как это мы увидим в главе 6: они живут в японском языке своей жизнью. И в нашей стране, вероятно, немало людей может рассказать, как они начинали учить японский язык и бросали. Меру сложности языка установить вряд ли возможно, но трудности в освоении этого языка, никому близко не родственного, для иностранцев очевидны.

На деле, разумеется, эти трудности преувеличиваются в японском массовом сознании. В отличие от эпохи американской оккупации сейчас знание японского языка иностранцами — уже далеко не редкость. Отмечают, что сейчас, например, есть белые люди, получающие японские литературные премии за произведения на японском языке [Gottlieb 2005: 5].

2.4. Японский язык — для японцев

Нередко эти сложности в освоении японского языка американцами и европейцами воспринимаются в Японии как нечто естественное и даже положительное. И бросается в глаза одна особенность Японии. Обычно чем более важную роль играет то или иное государство на мировой арене, тем больше международных функций выполняет его язык. Но роль японского языка здесь за последние полвека увеличилась не намного. Японский язык не стал языком ООН, и Япония этого никогда всерьез не добивалась. Правда, такой вопрос однажды поднимался в конце 80-х гг., но довольно быстро оказался снят с повестки дня [Gottlieb 2005: 74]. Очень редко японский язык выступает в качестве языка международных конференций и симпозиумов. И в Японии это не кажется ненормальным. Как указывает Дж. Стенлоу, еще недавно идея о японском языке как международ-

ном казалась, в том числе в самой Японии, еретической, хотя сейчас это уже не так [Stanlaw 2004: 277].

Обычные ссылки японских авторов на сложность их языка не всё объясняют. Соседний Китай, чей язык не больше похож на европейские, борется за признание его международным явно активнее. И с точки зрения западного человека есть еще одна странность: далеко не всегда японцы с одобрением относятся к хорошему знанию их языка иностранцами (мы имеем в виду, прежде всего, американцев и европейцев). Ошибки прощают довольно легко, плохо говорящему по-японски иностранцу будут говорить комплименты, но если иностранец по-настоящему овладел языком, он может столкнуться с настороженным к нему отношением (сейчас, впрочем, это встречается реже, чем раньше). Об этом пишут японские авторы [Matsumoto 1980: 110; Mizutani 1981: 16, 63–65]. Иностранцу иногда приходится сталкиваться с тем, что на вопрос на японском языке ему отвечают на английском (японцы часто думают, что все люди европейской внешности — носители этого языка). Автор этой книги однажды разговаривал в самолете с соседом-японцем. Мы общались по-японски, я рассказал, что занимаюсь этим языком. Потом разговор оборвался, я стал смотреть японский журнал. Удивлению моего соседа не было пределов: «Как, Вы и читать можете?». У нас трудно себе представить специалиста по какому-то языку, который на нем говорит, но не читает. Но японцы исходят из того, что иероглифы — самое сложное в их языке.

Видимо, корни всего этого лежат в национальных привычках, сложившихся в изолированном островном государстве. Конечно, Япония — давно не закрытая страна, но в провинции и сейчас дети, увидев белого человека, бегут за ним с криками: «*Gaijin!*» («Иностранец»); автор книги сталкивался с этим в 70–80-е гг. недалеко от Токио. В самом Токио, впрочем, такого уже не бывает, а само слово *gaijin* сейчас избегается, например, оно запрещено на телевидении [Gottlieb 2005: 118]. Конечно, времена изменились, но ситуация в Японии отличается от того, что мы видим в ряде других стран. В малых странах Европы очень уважают того редкого иностранца, кто знает их язык, а в США знание иностранцем английского языка воспринимается как норма.

И, по-видимому, в Японии, несмотря на склонность к языковым заимствованиям, важно ощущение владения наряду со всем этим чем-то уникальным, специфически своим. Таков синтоизм, чисто япон-

ская религия в отличие от сосуществующего с ним интернационального буддизма (недаром японцам никогда не приходило в голову обращать в него иностранцев). И таков японский язык, пусть в нем есть особые подсистемы китайских и английских заимствований. Отсюда так сильны представления о непосильной сложности этого языка для белых людей, в меньшей степени это касается других народов Дальнего Востока. Исключением из традиционного японского языкового изоляционизма была языковая политика в первой половине XX в. в японских колониях: на Тайване, в Корее и в японской Океании. Здесь ставилась задача не просто обучить покоренные народы японскому языку, но ассимилировать их в языковом отношении. Как указывает Курасима Нагамаса, тогда единственный раз в японской истории вне Японии распространялся не *nihongo* (японский язык для иностранцев), а *kokugo*, то есть японский язык в качестве родного [Kurashima 1997, 1: 97].

В массовом сознании существует и идея о том, что японцам тяжело и поэтому не стоит учить иностранные языки. На это жалуется специалист по методике преподавания японского языка Эндо Хатио [Endoo 1995: 28], упоминает об этом и Н. Готтлиб [Gottlieb 2005: 36–37]. Этим идеям, однако, противостоит престижность английского языка (см. главу 6).

Всё сказанное свидетельствует о том, что японское общество всё еще остается замкнутым. Здесь мы впервые сталкиваемся с фундаментальным для японской культуры противопоставлением «свой — чужой», о котором будет не раз говориться в последующих главах. Сильны представления о том, что японцы должны говорить по-японски, иностранцы, как кажется многим японцам, по-английски, а вопрос межнационального общения не является приоритетным.

Впрочем, в последние десятилетия призывы придать японскому языку международный статус стали встречаться чаще. Особенно много об этом говорили в 80-е гг., в период наибольших экономических успехов Японии. Уже упоминавшийся Судзуки Такао писал в газетной статье в 1987 г.: «Мы должны сделать всё, чтобы выработать точку зрения, соответствующую нашей экономической мощи... Но нельзя отвлекаться от проблемы языка. Поэтому наша самая неотложная задача — способствовать использованию японского языка как международного» [Suzuki 1987b]. Тогда даже ставили вопрос: будет ли мир в XXI в. говорить по-японски. Судзуки не отказывается от такой постановки вопроса и сейчас [Suzuki 2006: 15–16]. Но сейчас такие

высказывания слышны реже: экономическое положение страны после долгой стагнации им не способствует.

2.5. Особое богатство японского языка

В Японии любят видеть особые качества своего языка и в связи с имеющимися в нём многочисленными синонимами; этот миф также критиковал М. Сибатани [Shibatani 1990: 89–90]. Действительно, заимствованные слова вместе с иероглифами их чтения, подвергшиеся фонетической адаптации, значительно пополнили японский лексический запас, очень часто оказываясь синонимичными или очень близкими по значению исконно японским словам. Впрочем, чаще всего имеются стилистические различия: исконное слово — общеупотребительное или чисто бытовое, китайское — книжное. Еще расширилась синонимия после появления в японском языке множества заимствований из английского языка, о которых речь пойдет в шестой главе. Но, разумеется, обилие синонимов — свойство многих языков, а в Японии эти свойства своего языка также склонны мифологизировать.

2.6. Культура молчания

Еще черта японских воззрений на свой язык — особое подчеркивание склонности к молчанию и невербальным средствам передачи информации. Например, Хага Ясуси пишет, что японцы не любят всю информацию передавать словами, и можно говорить о «языке без языка» (*gengai no kotoba*) в Японии [Haga 2004: 104]; по его мнению, японцы испытывают недоверие к слову и не любят объяснять [Haga 2004: 260]. Он же считает, что французы кричат на вокзалах, немцы часто хохочут, а японцы избегают всего этого [Haga 2004: 72]. Такэмото Сёдзо даже заявлял, что с японской точки зрения западные люди слишком говорливы, тогда как японцы привыкли к молчанию, и значительная часть информации в их языке лишь подразумевается. Причина этого в том, что для западного человека слово — оружие, без него нельзя выжить, а японцы находятся между собой в мирных отношениях семейного типа [Takemoto 1982: 267]. Вообще работам по *nihonjinron* свойственно особое подчеркивание роли молчания и подтекста в японской культуре; обзор некоторых точек зрения см. [Гуревич 2005: 169–181]. Такие идеи широко проникают с подачи японских авторов и в другие страны, в том числе в Россию. Не только в Японии, но и в других странах «японцев называют

носителями традиционной культуры молчания, культуры бесстрастной коммуникации, имеющей минимальные внешние проявления» [Гуревич 2005: 169]. Японские пословицы и поговорки отражают представления о вреде многословия и пользе молчания [Гуревич 2005: 176–178], это отмечает и Хага Ясуси [Хага 2004: 106]. А в наши дни социальные стереотипы отражаются не столько в пословицах, сколько в рекламных лозунгах [Hayakawa 2001: 40–41]. Эту мысль автор статьи иллюстрирует именно тем, что, например, в рекламе пива «Саппоро» используется образ молчаливого мужчины [Hayakawa 2001: 42].

Как часто бывает в подобных случаях, такой взгляд имеет рациональное зерно. Главный объективный аргумент в его пользу – постоянное опущение тех элементов структуры предложения, которые обязательно выражаются в английском и других языках, с которыми японский язык обычно сопоставляется. Например, нам однажды встретилось уличное объявление: *Koneko sashiagemasu*. Первое слово значит ‘котенок; котята’, второе – глагол со значением ‘давать’ (от 1-го лица ко 2-му или 3-му, вежливо) в форме настоящего времени (лицо и число в глаголе никогда не выражается). С точки зрения носителя русского языка в предложении опущены: 1) подлежащее, 2) косвенное дополнение (кому дать), 3) показатель прямого дополнения (винительного падежа), 4) указание на число дополнения. А в дублированных на японский язык западных кинофильмах ощущается слишком частое для японского языка использование личных местоимений.

Несомненно и осуждение говорливости, и одобрение молчаливости также в японской народной мудрости, но, во-первых, подобные сентенции можно найти и в русском языке (что отмечает Т. М. Гуревич), во-вторых, соотношение говорения и молчания – одно из проявлений групповых и иерархических отношений, о которых см. ниже. Например, в главе 8 речь будет идти о традициях молчания женщин в диалоге с мужчинами.

Р. Э. Миллер, резко критикующий «культуру молчания» как один из японских языковых мифов, считает, что на деле японцы могут быть даже очень говорливы: ресторан в японском стиле – «словесный бедлам», а в японских храмах шума больше, чем в храмах других народов, и нельзя считать, что в прошлом было иначе [Miller 1982: 86–87]. Можно добавить, что не прослеживается «культура молчания» в столовых и комнатах отдыха японских университетов.

Молчание для японцев – скорее идеал, чем норма общения. Этот идеал, возможно, имеющий конфуцианские истоки [Dale 1986: 79], в языковом сознании преувеличивается и мифологизируется.

Итак, реальные особенности структуры или функционирования японского языка порождали и продолжают порождать стереотипы массового сознания, которые могут оказывать на язык обратное воздействие через поддержание нормы, языковую политику, обучение языку и др.

Глава 3

ЯПОНСКИЙ НАЦИОНАЛИЗМ И КАРТИНЫ МИРА

3.1. Японский языковой национализм

Вернемся к идеям *nikonjinron*. Можно видеть, что они, как и сходные идеи публикаций более раннего времени, при разной аргументации и применении к разным, казалось бы, явлениям культуры и языка, сохраняют некоторые общие черты. Это, во-первых, обостренное чувство национальной идентичности, во-вторых, гордость национальными традициями и традиционным укладом и настороженное отношение к американскому образу жизни, в-третьих, культурный и языковой изоляционизм. Впрочем, такой видный ученый как Судзуки Такао, сохраняя две первые черты, решительно отказывается от третьей, подчеркивая необходимость интернационализации Японии.

В чём причины устойчивости таких представлений? Здесь, помимо политических факторов, о которых писали Р. Э. Миллер и П. Дейл, надо учитывать и культурные, и психологические. Для каждого народа, вступившего на путь модернизации и вестернизации, оказывается необходимым осмыслить свою национальную специфику, выявить, чем собственная культура отличается от западной. И вполне естественно, что у самых различных народов наряду со своими «западниками» появляются свои «славянофилы» и «почвенники», отстаивающие в том или ином виде идеи превосходства своей культуры, своего взгляда на мир, а зачастую и своего общественного устройства. И наиболее часто такие идеи распространяются и приобретают популярность в периоды успешного развития, когда народу есть чем гордиться. Однако национальная гордость очень легко переходит рамки разумного и способствует появлению и развитию разного рода мифов. Япония, где жанр *nihonjinron* популярен — яркий пример этого.

Как уже говорилось, истоки многих идей такого рода восходят к школе *kokugaku* XVII—XVIII вв. Становление национальных лингвистических

тических традиций нередко сочетается с появлением идеи превосходства своего языка над другими. Это происходило примерно в то же время и в России: вспомним известные рассуждения М. В. Ломоносова об особом богатстве русского языка по сравнению с западными. А младший современник Ломоносова, крупнейший представитель школы *kokugaku* Мотоори Норинага (1730–1801) писал, что наличие небольшого числа слогов в японском языке — свидетельство его совершенства, тогда как многочисленные слоги китайского языка и санскрита неправильны и похожи на звуки животных [Алпатов, Басс, Фомин 1981: 282].

В то время еще речь шла о противопоставлении японской культуры, прежде всего, китайской. Но окончательно сформировалась японская националистическая идеология в эпоху Мэйдзи, когда остро встала проблема освоения западных ценностей и осознания собственных. П. Дейл возводит формирование этой идеологии к концу эпохи Мэйдзи [Dale 1986: 6]. В эпоху японского милитаризма и единственной за всю историю Японии колониальной экспансии националистическая идеология стала государственной, получив выражение в сочинениях вроде официальной публикации «*Kokutai no hongī*» («Истинная сущность государственного строя») (1937), автором которой был близко стоявший к правящим кругам профессор С. Хисамацу. В этом сочинении большое место занимали идеи об особой ценности японского языка. Еще дальше заходили крайне правые. Например, И. Кита еще в 1919 г. в книге, которую потом называли «библией японского фашизма», писал: «Английский язык не является ни необходимым, ни обязательным в народном образовании. ... Английский язык — яд для сознания, подобный опиуму, которым англичане разрушили китайский народ. ... Полное изгнание английского языка из нашей страны особенно важно, поскольку главное значение реорганизации государства — в восстановлении его национального духа» (цитируется по [Молодяков 1997: 259]).

После войны националистические идеи ушли в тень, хотя, разумеется, не исчезли (область языка оказалась их прибежищем даже в это время), а с 60-х годов начали вновь высказываться, хотя и не в том виде, как до 1945 г. Очевидно, что в основе этого лежали экономические и технологические успехи Японии. Именно на время наибольших успехов приходится расцвет литературы по *nihonjinron* [Gottlieb 2005: 52].

Конечно, идеи о превосходстве своей культуры, включая язык, как и своей социальной организации, встречаются не только в Япо-

нии. Достаточно вспомнить мусульманские страны, да и Россию. В мире это скорее норма, чем исключение. Менее всего в языковой области они, пожалуй, свойственны Западной Европе, где несколько последних веков сосуществовала целая группа государств, соперничавших между собой, но примерно равных по силе и культурному уровню. После падения роли латыни ни один язык не стал общеевропейским (по крайней мере, до последнего времени, когда на эту роль стал претендовать английский). А в последние десятилетия в Западной Европе всякие идеи национальной самобытности, включая языковую, стали ассоциироваться с фашистской Германией и избегаются, противореча господствующим концепциям европейской интеграции. Автор предисловия к книге П. Дейла пишет, что в Великобритании сейчас никому не придет в голову пропагандировать «английскость» (*englishness*), поэтому соответствующие японские идеи «японскости» удивляют [Stockwin 1986: 3]. Впрочем, в тот же ряд можно поставить и концепции превосходства всей европейской или христианской культуры над остальными. Зато в США идеи о превосходстве собственной культуры и, в том числе, английского языка очень популярны, и в наши дни более чем когда-либо, хотя сейчас чаще подаются не в виде пропаганды американского образа жизни, а в оболочке глобализации.

Но японские концепции такого рода имеют некоторые особенности. Одна из них заключается в том, что вестернизация Японии уже зашла далеко, и каждый японец, пройдя через школьное образование, знаком с научной картиной мира и основами научной аргументации. Поэтому в Японии при формулировании тех или иных идей уже нельзя прибегать только к традиционным, например, религиозным аргументам. Каждая, даже самая фантастическая идея требует научного или хотя бы квазинаучного обоснования. Публикации по *nihonjinron* обычно наполнены, а то и переполнены научными фактами, каждый из которых по отдельности может быть достоверен сам по себе, могут использовать данные экспериментов, математический аппарат и пр. На деле же их авторы идут не от фактов к обобщениям, а от некоторых заранее заданных постулатов; затем для иллюстрации этих постулатов из моря фактов выбираются наиболее подходящие, хотя может создаваться и «воображаемая реальность». Конечно, такой жанр квазинаучных сочинений встречается не в одной Японии: весьма часто приходилось и приходится с ним сталкиваться в нашей стране и в прежние эпохи, и сейчас.

Другая особенность японских националистических публикаций состоит в том, что особое место в них, как мы уже отмечали, занимают вопросы языка. Конечно, и здесь можно найти параллели в других странах. У нас не только М. В. Ломоносов, но и крупнейшие ученые XX в. могли писать об особом величии и богатстве русского языка, превосходящего иноземные языки, пример — книга В. В. Виноградова [Виноградов 1945]; характерно, что она появилась в 1945 г., когда успех нашей страны был неоспорим. И всё же русское «почвенничество» прежде всего апеллировало к иным ценностям. А в Японии почти любое сочинение, пытающееся доказать превосходство японского пути развития над западным, упоминает, хотя бы вскользь, об особых свойствах японского языка, пример — упоминавшееся сочинение «Kokutai no hongî». С другой стороны, рассуждать об особой ценности своего языка и своей культуры в целом были склонны не только дилетанты, но и самые крупные японские ученые разного времени (как и некоторые их русские и советские коллеги). Тот же Мотоори Норинага вошел в историю как один из основателей научного изучения японского языка. А в год вступления Японии в мировую войну появилась, безусловно, значительная с научной точки зрения книга Токиэда Мотооки «Kokugogaku-genron» («Принципы японского языкознания») [Tokieda 1941], позднее многократно переиздававшаяся; ее фрагменты есть и в русском переводе [Языкознание 1983: 85–110]. В книге резко и небезосновательно критикуются идеи западной структурной лингвистики, которым в качестве образца противопоставляются концепции Мотоори Норинага и других представителей kokugaku, не имевших понятия о западной науке (о теоретических идеях этой книги см. нашу работу [Алпатов 2005: 265–270]).

Как подчеркивает Р. Э. Миллер [Miller 1982: 36–40], языковая «аргументация» должна «подтверждать» то, что все японцы уникальны, культурно богаты и однородны. По словам одного из западных исследователей, на основе таких работ японцы выглядят как одна счастливая семья [Моегап 1989: 180]. Впрочем, неоднородность японского общества где-то признается (по возрасту и по полу), но в других случаях отрицается (по классовой принадлежности) [Моегап 1989: 15]. То есть опять-таки существенны различия, имеющиеся внутри семьи. Любимая идея — «гармоничность» японского общества, корни которой могут искать опять же в особенностях языка. Другая идея — исконный коллективизм японцев. Ряд примеров такого подхода мы далее рассмотрим.

3.2. О японском мозге

Авторы некоторых работ по *nihonjinron* приходят к глобальным выводам. Любопытна ставшая в конце 70-х гг. в Японии бестселлером (за первый год не менее девяти изданий) книга врача-отоларинголога Цунода Таданобу (которого не следует смешивать с его однофамильцем, известным типологом Цунода Тасаку) под названием «Мозг японцев» [Tsunoda 1978]. Мы уже критически разбирали эту книгу [Алпатов 1988–2003: 142–144], см. также ее справедливую критику у Р. Э. Миллера [Miller 1982: 74–83] и Дж. Мехера [Maher 1995: 9]. Поэтому отметим лишь главное ее содержание.

Книга «Мозг японцев» внешне выглядит как описание экспериментального исследования, содержит много таблиц, графиков, формул, описаний опытов. Всё это должно было вызывать и действительно вызывало почтение у читателей-неспециалистов. Но ее успеху способствовало то, что выводы книги всем понятны и весьма приятны для широкого японского читателя, а наличие формул и графиков вызывало ощущение того, что эти приятные выводы строго научно доказаны.

Автор книги описывает свои опыты по восприятию гласных и согласных звуков левым и правым ухом испытуемыми разных национальностей. Он приходит к выводу о том, что если согласные всеми воспринимаются более или менее одинаково, то гласные японцами (и еще полинезийцами, видимо, добавленными для парирования обвинений в национализме) воспринимаются не так, как западными людьми, китайцами или корейцами. Из неодинакового восприятия гласных звуков разными ушами он делает вывод о том, что эти звуки различно воспринимаются у этих людей разными полушариями мозга. Далее идут уже чисто умозрительные выводы, последний из которых следующий: японцы наряду с полинезийцами обладают уникальным устройством мозга [Tsunoda 1978: 70].

Из строения японского мозга автор выводит особенности японской культуры. Если у других народов жестко разделены функции левого, логического и правого, интуитивного полушарий мозга при доминировании правого, то у японцев всё иначе. До знакомства с европейской культурой для японцев не было различий мыслей и чувств, им даже сейчас нет необходимости четко формулировать идеи, что приводит, с западной точки зрения, к логическим неясностям в японских текстах. Лишь японцам доступны голоса природы, японская музыка, они слиты с природой и не одиноки в ней, будучи

способны, например, ассоциировать писк насекомых со временем года. А иные люди, особенно западные, одиноки в природе и противопоставлены ей, логичны, практичны, преуспевают в технике и физике [Tsunoda 1978: 21]. Японцы обладают развитой интуицией, а европейцы всё подчиняют логике. При этом происходит типичная для *nihonjinron* подмена понятий: хотя к американцам и европейцам добавлены китайцы и корейцы, а к японцам — полинезийцы, автор постоянно забывает об этом и переходит всё к тому же большому для японских «почвенников» противопоставлению Японии и Запада.

Поскольку, согласно умозаключениям Цунода, японский мозг совершеннее, то человек, не обладающий уникальным мозгом, не способен понять японскую музыку и по-настоящему выучить японский язык. Тем самым упомянутые в прошлой главе идеи о том, что людям Запада, китайцам и другим народам невозможно заговорить по-японски, получают «экспериментальное подтверждение». Японец же, согласно Цунода, может освоить чужие культуры и языки, но это для него скорее вредно: чем лучше японец их узнает, тем больше для него опасность потерять уникальное строение мозга [Tsunoda 1978: 90–107].

Ясно, что автор книги не пришел к своим выводам на основе экспериментов, а, наоборот, с самого начала исходил из априорной идеи о превосходстве японской культуры над западной, а затем искал для нее «экспериментальные подтверждения», которые, как пишет Р. Э. Миллер, не выдержали проверки у других исследователей [Miller 1982: 80]. Книга интересна лишь как пример выражения стереотипов японской культуры. Как уже говорилось, японцы, многое заимствуя, любят гордиться обладанием чем-то особым, недоступным другим народам, часто это связывается с языком. Это и получило «научное подтверждение» в книге «Мозг японцев», данные которой нередко некритически используют, см. [Takemoto 1982: 271].

3.3. Картины мира и японская уникальность

Особое место в исследованиях по *nihonjinron* занимают работы, касающиеся важнейшей проблемы — проблемы японской языковой картины мира; о ней мы далее будем говорить и в этой, и в следующей главах. Здесь мы критически рассмотрим некоторые японские подходы к ней, а в следующей главе попробуем разобраться в ней более или менее объективно.

Давно известно, что языки по-разному членят мир, с разной степенью детальности описывают и классифицируют его явления. Еще в первой половине XIX в. В. фон Гумбольдт писал: «Весь язык в целом выступает между человеком и природой, воздействующей на него изнутри и извне. ... Каждый язык описывает вокруг народа, которому он принадлежит, круг, откуда человеку дано выйти лишь постольку, поскольку он тут же вступает в круг другого языка» [Гумбольдт 1984: 80].

В 30-е гг. XX в. вопрос о влиянии языка на представления людей о мире вновь поставили замечательный американский культуролог и лингвист Э. Сепир и его ученик Б. Уорф. Уорф сопоставлял «европейский стандарт» и сильно отличающуюся от него картину мира североамериканских индейцев хопи, придя к выводу о том, что в основе различий в видении мира лежит различие в языке [Уорф 1960]. Идею о том, что представления людей о мире и их поведение обусловлены их языком, принято называть гипотезой языковой относительности, или гипотезой Сепира-Уорфа (хотя Э. Сепир проявлял в этих вопросах большую осторожность, чем его ученик). Эта гипотеза активно обсуждается в современной науке, но ее нельзя считать ни доказанной, ни опровергнутой. Фактов, ее подтверждающих, немало, но наука пока не обладает каким-либо научным методом для решения этих проблем; мы уже писали об этом [Алпатов 1998: 219–226]. Сейчас картины мира активно изучаются и у нас, и в ряде других стран. Живым классиком такого рода исследований считается австралийская лингвистка польского происхождения Анна Вежбицкая, чьи работы хорошо известны и у нас [Вежбицкая 1996], о ее работах по японскому языку см. ниже.

Для японского языка вопрос об особенностях членения мира, по-видимому, впервые поставил еще в 50-е гг. видный лингвист Киндайти Харухико [Kindaichi 1978]. В наши дни японские авторы часто вспоминают гипотезу Сепира-Уорфа, а иногда также выдвинутые примерно в те же годы сходные идеи немецкого лингвиста Л. Вайсгербера, развивавшего концепцию В. фон Гумбольдта, см., например, [Нага 2004: 169, 180–181]. См. также об этом с позиции извне [Моёган 1989: 15], где отмечается, что в Японии принимают гипотезу Сепира-Уорфа в самом сильном ее варианте: язык определяет всё. Особое значение, придаваемое японским массовым сознанием своему языку, хорошо увязывается с высказанными в совершенно иной обстановке идеями американского ученого.

Нередко и в Японии, и на Западе отмечают влияние на *nihonjinron* и западных исследований «японского духа», особенно появившейся еще в 40-х гг. книги американского этнолога Рут Бенедикт [Ikegami 2000: 67; Dale 1986: 31; Moeran 1989: 14; Tanaka 2004: 19–20]. Эта книга, сейчас изданная и по-русски [Бенедикт 2004], основывалась на идее о коренной разнице японского и западного японского взгляда на мир, и многие из методов и конкретных наблюдений Р. Бенедикт приняты на вооружение в работах по *nihonjinron*.

При изучении в Японии картин мира японская культура и японское общество сопоставляются либо только с США (иногда вместе с Канадой), либо с некоторым недифференцированным «Западом вообще», куда может включаться и Россия. В области же языка эталон — почти всегда английский язык. Лишь в отдельных работах упоминают и про другие языки, например, корейский, как в книге [Ikegami 2000].

Образец такого подхода — книга [Fukuda 1990], авторы которой (два брата, специалисты по менеджменту, из которых один переселился в Канаду, другой остался в Японии) попытались сопоставить, с одной стороны, японский и английский языки, с другой стороны, социальное устройство Японии и США (а также Канады) с особым вниманием к устройству менеджмента. Для нас привычно, что какая-то одна область рассматривается в качестве «базиса», но необычно, что в таком качестве рассматривается язык.

Книга делится на лингвистическую и общекультурную части. В каждой из них перечисляются многие факты, сами по себе в большинстве хорошо известные и вполне реальные. Но они подбираются в соответствии с заранее избранной схемой: авторам надо показать раздробленность, индивидуализм американцев и канадцев и целостность, коллективизм японского общества. Это они ищут везде, начиная с языка.

Вот первая, лингвистическая часть книги. Авторы перечисляют ряд особенностей, действительно имеющихсЯ в английском языке (другие языки, как обычно в *nihonjinron*, как бы не существуют), в сопоставлении с японским языком. У американцев имя стоит перед фамилией, адрес начинается с имени и фамилии, а страна стоит на последнем месте, в японском же языке всё наоборот. Силовое ударение в английском языке четко разделяет слова, японское музыкальное ударение их объединяет. Обособленность английских слов усиливается артиклями, а на письме пробелами и использованием

прописных букв, чего нет в японском языке. Английское предложение чаще всего четко делится на две части: группу подлежащего и группу сказуемого; в японском языке такое двоичное деление встречается намного реже. Английские личные местоимения — особая часть речи с особыми свойствами, а японские личные местоимения по свойствам не отличаются от существительных. Каждая из перечисленных особенностей обоих языков вполне реальна и не раз описывалась.

Эти различия, однако, подобраны для иллюстрации двух заранее заданных тезисов. Первый: для английского языка главное — обозначение части, для японского — обозначение целого. Второй: в английском предложении составные части резче отделены друг от друга, чем в японском. Вывод авторов: японский язык холистичен, рассматривает мир в его целостности, ему свойственны конкретность и эмоциональность; английскому языку свойственны расчленение мира и выделение индивидуального, особенно эгоцентричного (даже местоимение 1-го лица пишется с большой буквы) начала, абстрактность и логичность [Fukuda 1990: 78].

Переходя к рассмотрению японского и американско-канадского общества, братья Фукуда также перечисляют множество достоверных или по крайней мере правдоподобных фактов. Вот некоторые из них. Американские и канадские компании предпочитают узких специалистов, японские фирмы — преданных людей, готовых выполнять любую работу. На американских визитных карточках обязательно обозначается профессия человека, а на японских часто — лишь фирма. Христианство монотеистично, синтоизм политеистичен, а разные религии мирно сосуществуют в Японии, но не на Западе, где в отличие от Японии не допускается исповедовать разные религии одновременно. На западных могильных памятниках всегда пишутся имена и почти всегда даты жизни погребенных, на японских — лишь семейная фамилия.

Отсюда делается вывод в отношении «настройки»: американско-канадское общество характеризуется рыночной экономикой, индивидуализмом членов, отделением власти от личности, склонностью к соревнованию и борьбе. Японское же общество отличается целостностью, государственным регулированием экономики, склонность своих членов к гармонии и консенсусу, преобладание интересов государства и фирмы над интересами личности [Fukuda 1990: 107–108]. В США и Канаде господствует капитализм, которого в Японии нет и

никогда не было. Всё это иллюстрируется примерами из разных сфер от менеджмента до семейной жизни (в американской семье муж и жена борются за первенство, а в Японии они мирно распределяют между собой функции [Fukuda 1990: 160–161]); сами по себе они опять-таки достоверны, но очевиден их целенаправленный подбор.

Делаются и такие выводы: западное общество пронизано антиномиями, начиная от двоичного кода и кончая классовой борьбой, японское общество гармонично и не требует давать однозначного ответа «да» или «нет» [Fukuda 1990: 99]. В США и Канаде работа жестко отделена от досуга, который ценится выше, тогда как японцы постоянно трудятся [Fukuda 1990: 111]. Для японца на первом месте интересы страны, затем — фирмы, затем — семьи, а на последнем месте находится он сам, тогда как для западного человека всё наоборот [Fukuda 1990: 134]. И всё это выводится из того, что английский язык ориентирован на части, а японский язык — на целое.

При современном уровне развития науки пока что всё это нельзя ни строго доказать, ни строго опровергнуть, нет и критериев доказательного подбора подтверждающих фактов. Их всегда много и в языке, и в других компонентах культуры, но можно найти и немало противоположных. Как известно, существует и полярная концепция, в соответствии с которой современная Япония уже вполне американизирована, в ней пустили прочные корни идеи свободы, демократии, гражданского общества и т. д. И ее сторонники, более распространенные в США и Европе (а теперь и у нас), чем в самой Японии, тоже могут опираться на значительное число фактов, только, разумеется, других. А в области связи между языком и культурой пока что наряду с отдельными убедительными примерами последователи Б. Уорфа приводят иногда и фантастические, однако, разграничить их пока что можно лишь с помощью интуиции и так называемого «здорового смысла», а они у разных людей не одинаковы.

Так что подбор фактов у братьев Фукуда предназначен для заранее заданной цели. А она вполне стандартна для *nihonjinron*: показать, что японское общество не хуже и даже лучше американского. И эту книгу трудно назвать научной, хотя в ней нет столь явной псевдонаучности, как в книге «Мозг японцев» (но и прославилась она гораздо меньше).

Однако между выходом в свет двух этих книг прошло двенадцать лет (1978–1990). При их сравнении видно, что кое-какие изменения в японском массовом сознании произошли. Цунода в 70-е гг. исходил

из традиционного японского языкового и культурного изоляционизма. По его мнению, «чужой» не в состоянии, не прожив с детства в японском обществе, освоить японский язык и японскую культуру, а японцу освоение чужих языков и культур может принести вред. Отсюда напрашивается естественный вывод, который, правда, Т. Цунода прямо не решился сформулировать: лучший вариант — японцу с иностранцем не общаться вообще. В книге братьев Фукуда ничего подобного нет; наоборот, подчеркивается необходимость интернационализации, взаимопонимания народов и взаимопроникновения культур. Авторы готовы признать даже, что каждая культура имеет свои плюсы и минусы. Они, в частности, соглашаются с тем, что индивидуалистическая американско-канадская культура хороша там, где важны качества отдельной личности, прежде всего, в науке и изобретательстве. Поэтому именно на Западе, как они отмечают, развились всякие науки от ядерной физики до генеративной лингвистики, а среди японских ученых мало нобелевских лауреатов. Но, зато, по их мнению, японская культура выше везде, где главное — отношения между людьми: начиная от экономики и государственного устройства и кончая семьей, везде отношения (между начальниками и подчиненными, между супругами и т. д.) гармоничны и не связаны с соперничеством. Баланс соблюден, и, тем не менее, очевиден акцент на преимуществах японского образа жизни.

В отличие от автора книги «Мозг японцев» Э. и Ю. Фукуда подчеркивают необходимость для Запада осваивать японский опыт там, где Япония впереди, а японцам нужно, по их мнению, в большей степени, чем раньше, ощущать себя частью мира [Fukuda 1990: 202]. В подобных публикациях всё больше наблюдается уже не стремление к защите японской культуры от влияний извне, а призыв к ее мировому распространению, что исконно японскому национализму не было свойственно.

Впрочем, оборотной стороной национальной гордости, в том числе гордости за свой язык, может быть, как отмечал Р. Э. Миллер [Miller 1982: 84], и «антимиф», связанный с комплексами национальной неполноценности, включая языковую. Можно встретить и рассуждения о недостатках японского языка (естественно, по сравнению с английским). Например, утверждают, что этот язык затруднителен для прямого выражения смысла и для выражения критических мнений, неудобны слишком многочисленные способы обозначения собеседника и др. [Narumi, Takeuchi, Komatsu 2007: 13–14].

Использование языковых аргументов в попытках найти особую гармонию в японском обществе и в японской культуре свойственно не только авторам дилетантских работ. В целом, безусловно, исследования картин мира в японской науке, как и исследования по *nihonjinron* в целом необходимо дифференцировать. Нельзя согласиться с Дж. Стенлоу, ставящим в один ряд и исключаящим из пределов науки таких разных авторов, как Цунода Таданобу, Судзуки Такао и Киндайти Харухико [Stanlaw 2004: 274]. Такие книги, целиком или частично посвященные вопросам японской картины мира как [Kindaichi 1978; Ikegami 2000; Haga 2004], содержат немало интересных наблюдений, и мы в следующей главе будем использовать многие их примеры. И с Судзуки Такао нередко можно соглашаться. Однако, Дж. Стенлоу отчасти прав в том смысле, что почти в любой, даже лучшей публикации по особенностям японской культуры, включая языковую культуру, можно увидеть формулировки, продиктованные симпатиями или антипатиями, находящимися вне научной сферы. Например, Судзуки утверждал, что в японском языке нет и не было таких классовых различий, как в английском или французском языке [Suzuki 1987a: 130]. Судзуки также писал, что английский язык не создан для того, чтобы говорить о вещах по-японски [Suzuki 1987a: 114]. Вопрос о пригодности для этих разговоров более близких по строю к японскому языку тамильского или чувашского, как всегда, не ставится. Не говорим уже о далеко выходящих за научные рамки высказываниях того же автора о том, что передовая Япония самим фактом своего существования мешает мировому господству белых людей [Suzuki 2006: 131] или что победа Японии в Русско-японской войне остановила процесс установления власти белых христиан над миром [Suzuki 2006: 133].

Заметим, что впервые выдвинутый в СССР, но давно у нас забытый тезис о классовости языка в японской лингвистике встречается и сейчас. Кстати, можно согласиться с Судзуки в том, что современный японский язык в своей основе не классов. Но это только потому, что в большинстве современных обществ стандартный (литературный) язык приобретает общенародный характер (см. главу 5), а роль социальных диалектов уменьшается. Япония здесь не отличается ни от СССР, ни от США или современной России. В то же время вряд ли можно отрицать наличие очень разных социальных вариантов языка, скажем, в эпоху Токугава.

Другой автор писал, что в гармоничном японском обществе собеседников немного, и каждый из них определен, тогда как на Западе

приходится общаться сразу со многими, поэтому требуются специальные языковые средства, вроде ненужного японцам артикля и не обязательного в Японии множественного числа [Takemoto 1982: 271].

В пользу тезиса о превосходстве японского общества используется и упоминавшийся в предыдущей главе тезис о «культуре молчания». Это видно и в уже приводившихся словах о том, что язык для японцев в отличие от западных людей — не оружие. Такие взгляды опираются на высказанные еще до войны идеи знаменитого писателя Танидзаки Дзюнъитиро: «Когда сталкиваешься с европейцами лицом к лицу, даже только громкость их голоса подавляет физически. ... Европейцы совершенно не постигают внутренних, скрытых движений, которые помогают понимать друг друга без слов» [Танидзаки 1984: 271]. Как и Токиэда Мотоки в области лингвистики, Танидзаки в области литературы призывал отбросить западные влияния и вернуться к классическим традициям, основанным на бедности словаря и богатстве контекстных нюансов и соответствующим национальному характеру. Такие идеи западные исследователи сопоставляют с современными им идеями фашистской Германии [Dale 1986: 81], но если в Германии они отброшены, то в Японии взгляды Танидзаки и сейчас развиваются в исследованиях по *nihonjinron*.

Нельзя сказать, что любые обобщения в японских публикациях по особенностям своей языковой культуры обусловлены одним лишь стремлением найти в ней особую гармонию. Но и там, где это явно не прослеживается, для японских работ (впрочем, не только для японских) характерно делать далеко идущие культурные выводы из частных лингвистических фактов. Например, Хага Ясуси в нередких случаях, когда непереходные синтаксические конструкции японского языка соответствуют английским переходным конструкциям, находит отражение анимизма японцев (события как бы происходят сами собой) [Haga 2004: 206]. Икэгами Ёсихико частое в японском языке опущение подлежащего трактует как отражение японских представлений о красоте [Ikegami 2000: 244]. Нередко *nihonjinron* критикуют за придание формальным вещам слишком глубокого смысла [Ikegami 2000: 45].

3.4. Амаэ и семантический язык

Остановимся еще на одной книге, особо известной в Японии и за ее пределами, не меньше, а, может быть, и больше, чем книга «Мозг японцев». Это книга психиатра Дои Такэо (опять не специалиста в

лингвистике!), появившаяся в 1971 г., а затем не раз издававшаяся в оригинале и в английском переводе, далее ссылки на ее пятое английское издание [Doi 1986].

Этот автор в основу своей концепции положил понятие *amae*. Это слово, действительно с трудом переводимое на другие языки (на английский язык его стали переводить как *dependence* 'зависимость'), существует в японском языке с давнего времени. Оно обозначает инстинктивное отношение маленького ребенка к матери, включающее одновременно ласку и желание защититься от внешнего мира. До 1971 г. никто не придавал ему более широкого смысла. Но Дои определяет *amae* как ключевое понятие японской культуры, определяющее, согласно его концепции, основу отношений между людьми в ней. Как пишет Дои, это чувство в раннем детстве есть у любого человека, но лишь японцы сохраняют его на всю жизнь. Из него вытекают стремление к минимизации конфликтов, нелюбовь к спорам, агрессивному поведению, умение достигать консенсуса [Doi 1986: 7–9]. Отношения по принципу *amae* — отношения к «своим», квази-отношения родителей с детьми. Им противопоставлены отношения к «чужим» (*tanin*), особенно к иностранцам, которые таким чувством не определяются [Doi 1986: 36–37].

По своему подходу данная книга похожа на более позднюю книгу братьев Фукуда. Автор не строит концепцию на воображаемых фактах, как Цунода, а приводит для иллюстрации своей концепции разнообразные факты, сами по себе интересные. Но и здесь подход априорен: вновь «обосновываются» «мягкость» и «гармоничность» японского общества, отсутствие социальной и экономической борьбы, почтение японца к государству и т. д. Конечно, умение японских государственных и партийных структур улаживать конфликты негласным сговором (по другой терминологии, консенсусом) общеизвестны. Но прямо противоположная точка зрения об интенсивной классовой борьбе в Японии, господствовавшая у нас в советское время и до сих пор имеющая сторонников среди японских левых, тоже может подтверждаться реальными фактами. Для любой априорной схемы фактов хватит!

Дои также постоянно обращается к языковым аргументам, хотя их удельный вес в книге меньше, чем у Цунода или братьев Фукуда. Особенно много в книге этимологий и толкований лексики, с трудом (как и само слово *amae*) переводимой на западные языки. Всё это выполнено на невысоком научном уровне. *Amae* связывается не толь-

ко с *amai* 'сладкий' (такая связь в Японии традиционно признается, что отражено в иероглифическом написании), но и с *ama* 'небо', что сомнительно [Doi 1986: 72–73]. Впрочем, этимология не принадлежит к разработанным областям японской лингвистики, и нередко этимологии профессиональных лингвистов не лучше того, что делал непрофессионал Дои. Весьма значительную часть книги занимает толкование таких японских слов (переводы достаточно приближительны), как *ninjo* 'человеческое чувство', *enryo* 'стеснительность', *hi* 'дух', *kokoro* 'душа, сердце'. Отметим среди них ставшее сейчас популярным и вне Японии слово *giri*, примерно означающее «чувство долга». Об этих словах пишут и другие авторы, не только японские: см. о *wa* 'согласие' [Haga 2004: 65–66], об *enryo* [Endoo 1995: 164; Nagumi, Takeuchi, Komatsu 2007: 13], о *kokoro* [Moeran 1989: 66–68].

Конечно, все эти слова в той или иной степени (как и само слово *amae*) связаны с японской языковой картиной мира. Однако пока трудно говорить о какой-либо строгой научной теории, а многое в лингвистической части разработок Дои явно имеет любительский характер. Но, главное, опять видно заранее заданное намерение обосновать «гармонию» японского общества, лишённого социальной борьбы.

И опять-таки, как и многие другие авторы, Дои развивает всё ту же идею о том, что всё уникальное в японской психологии базируется на уникальности японского языка [Doi 1986: 14]. Так что и здесь мы имеем дело всё с тем же японским языковым мифом. Если Цунода связывал его с идеей об особом японском мозге, то Дои — с идеей об особой японской психике. Общий вывод книги Дои вполне совпадает с мнением других публикаций по *nihonjinron*: японское общество «гармонично», относительно бесконфликтно, индивид подчинен коллективу. Дои не раз подчеркивает, что принципы *amae* несовместимы с западными концепциями личной свободы, а независимость индивида в Японии — иллюзия [Doi 1986: 10, 86–87, 92].

Концепция Дои стала особенно популярной. Российские японисты считают *amae* «нормой межличностных отношений» в Японии [Молодякова, Маркарьян 1996: 27–28]. Американский специалист Ф. Э. Джонсон, в целом скептически относящийся к *nihonjinron* (выше приводились его слова о смешении фольклора с научной информацией), как раз подход Т. Дои счел верным и издал с предисловием Дои книгу по вопросам *amae* [Johnson 1993]. Концепцию *amae* и *wa* применяют к анализу японского языкового поведения [Akasu, Asao 1993: 112–114].

Наконец, уже упоминавшаяся знаменитая А. Вежбицкая, занимающаяся реконструкциями картин мира многих народов, в своей попытке реконструкции японской языковой картины мира, не владея языком, использовала японских информантов, которые просто пересказали ей лингвистические идеи работ по *nihonjinron*, в первую очередь данной книги. И ее статья [Wierzbicka 1991] представляет собой описание значений *amae* и других слов, любительски толкуемых Дои, в переводе на разработанный А. Вежбицкой на материале других языков метаязык «семантических примитивов». Это, помимо *amae*, *on* 'благоденствие', *wa* 'согласие', *gin* 'долг', *enryo* 'стеснительность', *seishin* 'дух' [Wierzbicka 1991: 333]. Эти слова А. Вежбицкая (повидимому, со слов информантов) считает ключевыми концептами японской культуры. Отметим, что из этих шести слов пять (кроме *amae*) — канго, что уже ставит под сомнение их исконное значение для японского взгляда на мир. В другой ее работе, переведенной на русский язык, говорится, что *amae* — одно из понятий, дающих «бесценный ключ» к пониманию культур и обществ, сравнимое с понятиями *happu* в англоязычной культуре или *тоска* в русской культуре [Вежбицкая 1996: 343]. Представляется, что метаязык семантики тут — не гарантия научной точности, это лишь способ представления и единообразной записи материала, достоверность которого в данном случае вызывает сомнения. К австралийской лингвистике применимы слова П. Дейла о том, что опасно принимать интерпретаторов за информантов: возникает риск впасть в национализм [Dale 1986: 7], точнее, распространять чужие националистические идеи.

Впрочем, есть и авторы, оценивающие книгу Дои как антинаучную, ставя ее в один ряд с книгой Цунода [Maher 1995a: 9–10; Dale 1986: 62–64].

3.5. Итоговые замечания

Таким образом, самые разные японские авторы сходятся на общей идее «гармонии» японского общества и японской культуры, включая язык. Концепции *nihonjinron*, прежде всего, противопоставлены представлениям о полном завершении вестернизации Японии и об успешном усвоении идей свободы, прав человека, разделения властей и т. д. Критики этих концепций на Западе отмечают их направленность против западных идей демократии и свободы личности. Отмечено, например, что, хотя в японском языке со времен Мэйдзи есть два слова, соответствующие слову *демократия* в запад-

ных языках (калька — канго *minshushugi* и заимствование *demokurashii*), сейчас стало подчеркиваться их различие: *minshushugi* — «хорошая демократия» с японской окраской, *demokurashii* — «плохая демократия», основанная на индивидуализме и своеволии [Моеран 1989: 160]. Сейчас эти разграничения нам что-то напоминают. Тот же автор считает, что и в сочинениях такого рода, и в японском искусстве (например, в самурайских кинофильмах о «золотом веке» справедливости во времена Токугава) отражается боязнь индивидуализма, который, как думают многие японцы, может привести к социальному хаосу [Моеран 1989: 157]. П. Дейл видит в концепциях *nihonjinron* тоску по феодальным ценностям и враждебность не только к индивидуализму, но и к любым институтам буржуазной культуры [Dale 1986: 45].

Но такие концепции несовместимы и с представлениями о Японии как капиталистической стране, страдающей всеми неустрашимыми пороками капитализма и разьедаемой классовой борьбой. Братья Фукуда и Судзуки прямо с ними спорят. Оба этих представления, как и картина, рисуемая в работах по *nihonjinron*, имеют аргументы в свою пользу, но, как любые схемы, упрощают происходящее. Но социалистический подход связан с неприятием японского общественного строя, а либеральный подход неизбежно отводит Японии подчиненное место по отношению к США, тогда как концепции *nihonjinron*, чем бы они ни обосновывались, льстят национальному самолюбию и хорошо соответствовали самосознанию народа в период экономического подъема.

Идеи *nihonjinron* первоначально вырабатывались для «внутреннего употребления» и имели, прежде всего, оборонительный характер в обстановке активного проникновения в Японию западной культуры. Но затем в период японских экономических успехов в Японии сочли важным распространять по миру представления об «уникальности» и «гармоничности» японской культуры, в том числе и языка. Пишут о том, что в 80-х гг. в Японии охотно субсидировались переводы на английский язык книг по *nihonjinron* [Моеран 1990: 13]. Этот же исследователь считает, что западные люди склонны видеть в японской культуре, в первую очередь, отличия от своей собственной культуры, а японские авторы отбирают выгодные для себя различия и отправляют их описания на Запад, навязывая собственное понимание японской культуры [Моеран 1989: 182–183]. Иногда, правда, имеются различия между публикациями на японском и английском языке. Например, вышеупомянутая книга братьев Фукуда сопровож-

дена пространным английским резюме. И сопоставляя резюме с книгой, можно заметить, что в нем акцентируется внимание на преимуществах «гармоничного» японского общества, зато критика американо-канадского общества заметно сглажена. Но направленность японской пропаганды вовне безусловна, а она нередко воспринимается некритически, в том числе у нас.

Однако все эти идеи, пусть далекие от научности и зачастую пропагандистские, требуют к себе внимания, поскольку отражают японские представления о своем языке, о его уникальности и трудности для иностранцев, о которых говорилось выше. Эти представления достаточно специфичны, если посмотреть на них с европейской точки зрения, и показывают особое значение, придаваемое в Японии своему языку. С точки зрения этнопсихологии (включающей в себя и языковой компонент) они существенны.

И еще одну проблему следует отметить. И марксисты, и либералы, делающие акцент на общемировых закономерностях, часто склонны игнорировать проблемы культуры, этнической психологии и тем более языка. А идеологи *nihonjinron*, как к ним ни относиться, делая акцент именно на них, ставят вопросы, на которые надо уметь отвечать, и указывают на многие факты, которые нельзя не учитывать. Некоторые из таких вопросов мы будем разбирать в последующих главах.

Впрочем, в последнее время, когда Япония испытала долгую экономическую стагнацию и усиленное давление США во многих областях, включая культурную, идеи о превосходстве японской организации общества и культуры уже не столь популярны, как в 70–80-е годы. По мнению некоторых российских специалистов, живущих в Японии, популярность *nihonjinron* в начале нового века значительно упала.

Глава 4

О ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА ЯПОНЦЕВ

Вопрос об особенностях так называемых национальных языковых картин мира, как мы видели в предыдущей главе, не всегда ставится корректно и часто связывается с ненаучными спекуляциями, о чём шла речь. Тем не менее, нельзя отрицать его важности и актуальности.

Мы уже говорили о современных работах по разным языковым картинам мира, которые при многих полученных интересных результатах не могут быть по строгости и доказательности сопоставлены с работами по фонологии или компаративистике. На японских примерах мы уже видели, как сам отбор фактического материала может подчиняться заранее известным результатам и подгоняться под них. Это не удивительно, поскольку пока нет строгого научного метода, позволяющего интерпретировать эти факты. Нет ясности и по вопросу о том, что в каждом случае является определяющим: когда язык влияет на поведение людей, а когда, наоборот, особенности языка производны от условий жизни (сложности в таком разграничении испытывал уже Б. Уорф). Многие лингвисты отмечают неразработанность метода и, как следствие, неубедительность многих построений и выводов в данных исследованиях. Известный лингвист А. Я. Шайкевич недавно наполовину в шутку, наполовину всерьез предложил объявить на некоторое время мораторий на сам термин «языковая картина мира» [Шайкевич 2005: 19]. И еще одна проблема, пока не получившая разрешения: как отделить современную языковую картину мира от сохранившихся в языке реликтов представлений людей прежних эпох. Об этом еще в 40-е гг. писал замечательный лингвист В. И. Абаев [Абаев 2006: 69–70]; указывает на это и А. Я. Шайкевич, отмечая, что существующие методы конструирования картин мира обращены в прошлое [Шайкевич 2005: 16].

При обращении к данной проблематике важно руководствоваться тезисом, сформулированным Е. В. Падучевой: «Задача отыскания

в том или ином языке черт, а *rgioi* приписываемых соответствующему национальному характеру, безнадежна и не представляет большого интереса». Нужно, наоборот, «выявлять свойства национального характера, вычитывая их из национально-специфического в соответствующих языках» [Падучева 1996: 21].

Это важнейшее требование, как мы уже видели, не соблюдается в работах по *nihonjinron*, где авторы заранее знают специфические черты японского национального характера вроде коллективизма и стремления к гармонии, а дальше ищут их в языке и, разумеется, находят. Более того, хотя, как подчеркивает Е. В. Падучева, данное требование сформулировано А. Вежицкой, сама Вежицкая не всегда его соблюдает в конкретных исследованиях, что мы видели на примере ее статьи о японском языке. Да и в ее статье о русской картине мира подход скорее обратен тому, который справедливо отстаивает Е. В. Падучева: статья начинается перечислением особенностей русского национального характера и «русского самосознания», выделенных на основе высказываний русских философов-идеалистов и исследования Гарвардского университета [Вежицкая 1996: 33–35], которые затем проецируются в языковую сферу. Вероятно, интереснее было бы на первом этапе максимально отвлечься от стереотипов о «русской душе» и исходить из фактов языка и лишь на последнем этапе сравнить то, что получилось, с мнениями В. С. Соловьева, Г. Федотова или гарвардцев.

Всё сказанное не означает игнорирования нами проблемы японской языковой картины мира. Ее изучение пока делает лишь первые шаги, и важно, не отбрасывая интересные факты и наблюдения, уметь критически относиться к тому, что об этих фактах пишут и говорят. При отсутствии строгих научных методов нам во многом приходится руководствоваться так называемым здравым смыслом. Будем надеяться, что он не будет нас подводить.

Мы далеки от претензий на восстановление японской картины мира в целом или на перечисление всех или даже основных отличий этой картины, скажем, от русской или английской. Для этого вряд ли еще пришло время. Ограничимся лишь отдельными примерами, о которых можно сказать что-то более или менее достоверное; иногда эти примеры как-то можно объединить в классы. Везде мы будем стараться идти от языковых примеров к объяснениям, а не наоборот.

4.1. Ряд разрозненных примеров

Вероятно, каждый человек, учивший японский язык, проходит этап, когда уже более или менее изучена грамматика, а иероглифы, если даже не всегда известны, то сравнительно легко находятся в иероглифическом словаре. Но как раз на этом этапе появляются новые трудности, выступающие на первый план при чтении оригинальных текстов. Известны или могут быть найдены в словаре все слова, понятны синтаксические связи между ними, а смысл текста ускользает. Особенности этого этапа отметил не раз нами упоминавшийся П. Дейл; по его выражению, читателю начинает казаться, что перед ним какая-то другая логика, и он чувствует себя Одиссеем в неведомой стране или Алисой в Стране чудес [Dale 1986: 12]. Однако Дейл делает из этого неудовлетворительный, на наш взгляд, вывод: он считает, что в японских текстах не другая логика, а свойственное японцам отсутствие всякой логики и привычки систематически мыслить [Dale 1986: 13]. Корень этого он видит в том, что не только специалисты по *nihonjinron*, но большинство японцев недостаточно интегрировались в западную (согласно Дейлу, мировую) культуру.

Представляется, что дело здесь всё же не в этом, а действительно в особых привычках, стереотипах, культурных особенностях, которые так или иначе отражаются в языке и образуют всё то, что пока что мы без дифференциации называем картинami мира. В отличие от многого другого студентов этому не учат (по крайней мере, систематически), и постигать это приходится в течение всей жизни.

Через несколько лет после окончания университета на советской космической выставке в г. Симидзу (префектура Сидзуока) автору данной книги впервые пришлось столкнуться не просто с неизвестными словами или выражениями, а с явлениями, которые трудно бывает предугадать. Из многих примеров приведем три, которые запомнились ярче всего.

На выставке показывали документальные фильмы об исследованиях космоса в СССР, и надо было подготовить японские переводы для дубляжа. Один из фильмов, посвященный доставке на Землю образцов лунного грунта, по-русски назывался: «Здравствуй, лунный камень!». Дословный перевод был решительно забракован японской стороной, было сказано: «У нас так не говорят». Японцы разъяснили, что обращение к неодушевленному предмету в японском языке невозможно. Фильм в итоге был назван просто “*Tsuki no ishi*” ‘лунный камень’ без обращения.

На банкете советский рабочий-макетчик произнес тост: «За его величество рабочий класс». Дословный перевод вызвал смех, при этом никакой приемлемый способ передачи данного значения японская сторона предложить не смогла. Было просто заявлено: «Так сказать нельзя».

Объяснять мировое значение полетов советских космических аппаратов на Марс или Венеру иногда оказывалось сложным, поскольку были посетители, которые не знали названий планет и задавали вопросы вроде: «Что такое Венера?». Разумеется, в японском языке такие слова есть, а каждый японец хотя бы раз в жизни сталкивается с ними в школе. Но в картину мира «среднего» носителя русского языка соответствующие слова обычно входят, а для японца названия планет и звезд — нет (все эти слова — книжные канго).

Теперь, спустя много лет, как следовало бы объяснить эти примеры, так или иначе относящиеся к особенностям языковой картины мира? Затруднения с олицетворением лунного грунта, никак не объяснимые, исходя из грамматики, вероятно, связаны с особой значимостью в японской культуре форм этикета, которые будут рассмотрены в главе 7. В языке одним из классов лексики, в которых этикет проявляется наиболее строго и последовательно, являются обращения (здесь, разумеется, японский язык не специфичен). Каждый человек, к которому обращаются по-японски, занимает определенное место с точки зрения семантических признаков «высший — равный — низший» и «свой — чужой». Животные еще как-то могут быть представлены в этих рамках, но как вставить в них неодушевленный предмет? Японские исследователи, кстати, отмечают и обратные трудности в переходе от лиц к предметам. Если в Европе могут называть поезда «Бетховен» или «Штраус», и улицам часто присваивают имена знаменитых людей, то Японии такой перенос не свойствен [Naga 2004: 238].

Трудностей с переводом тоста, как нам кажется, было сразу две. Одна из них такая же, как в предыдущем примере: трудно найти место в системе этикетной иерархии не только предмету, но и совокупности людей вроде социального класса. Но на это накладывается и другая проблема: титулатура японского языка связана, в первую очередь, с японскими реалиями. Если в русском языке титул *его величество* может относиться и к русским царям, и к иностранным монархам, и легко употребляется в переносных значениях вроде сошедшего в тосте, то соответствующие японские титулы относят-

ся только к японскому императору и применить их к кому-то еще затруднительно. То есть всё тот же признак «свой — чужой» может выступать и в виде «японский — иностранный», об этом мы будем подробно говорить в главе 5.

Наконец, малое значение в японской языковой культуре названий звезд и планет можно объяснить тем, что японцы, хотя и были связаны с морем, но в течение многих веков плавали лишь вдоль берегов и не привыкли ориентироваться по звездам. Тут, впрочем, встает вопрос, упоминавшийся выше: насколько данная черта относится к современности? Ведь ориентация по звездам уже не играет существенной роли ни в одной культуре. Больше могут быть значимы успехи или неуспехи того или народа в космосе (Япония, хотя уже давно запускает спутники связи и метеорологические спутники, космической державой так и не стала). Может играть роль и возрождение массового интереса к астрологии (в Японии оно, кажется, меньше, чем в современной России). Но ведь в русской картине мира Венера и Марс существовали и до успехов СССР в космосе и до всеобщего увлечения астрологией, чего в Японии не было (легенды и поверья, связанные с некоторыми звездами, там заимствованы из Китая). Это явление отметил и Хага Ясуси, по выражению которого из небесных объектов японцы всегда знали только луну [Haga 2004: 50].

А вот одна более общая особенность японского языка, безусловно, значимая, но которую трудно объяснить, если, разумеется, не прибегать к традиционным идеям *nihonjinron* об особой эмоциональности японцев. В японском языке очень много особых звукоподражательных и так называемых образоподражательных слов (в последних словах звуки речи не подражают звукам природы, а передают впечатление, эмоциональное представление о чем-то), многие из них образованы повтором корня (редупликацией). Примеры слов первого типа: *goso-goso* 'шелест, шуршание, производимые твердыми, но легкими предметами при соприкосновении', примеры слов второго типа — *pika-pika* 'ощущение от сверкания молнии или блеска предмета', *fusa-fusa* 'ощущение от пушистой шерсти', *bari-bari* 'ощущение энергичной работы'.

Безусловно, эти слова эмоциональны и обычно обозначают некоторые чувства. Но подобная эмоциональная лексика есть и во многих других языках, включая русский. Специфика японского языка здесь скорее как раз в противоположном: эти слова могут употребляться даже там, где речь не идет о передаче эмоций. Дж. Стенлоу пишет,

что в английском языке такая лексика считается детской, в Японии же не так [Stanlaw 2004: 321].

Видный отечественный японист А. А. Холодович в книге, посвященной анализу японских военных текстов 30-х гг., писал, что такие слова «употребляются обычно в военных пособиях при характеристике действий газов, а также при описании того, каким образом по звуку можно отличить полет и разрыв химического снаряда от гранаты». Приводятся примеры *пати-пати* «звук химического снаряда во время падения», *путту* «звук химического снаряда во время полета» [Холодович 1937: 106]. В русском языке нет ничего подобного. Наличие достаточно большого числа звукоподражательных слов типа *бах, бух, пах, трах* (нередко, как и в японском языке, с удвоением) и производных от них глаголов не является точной аналогией. Во-первых, эти слова стилистически маркированы и не могут встретиться, например, в военных пособиях. Во-вторых, что еще важнее, эти слова мало закреплены за определенным значением и вряд ли разрыв химического снаряда мы сможем строго отличить языковыми средствами от взрыва гранаты (можем ли мы разграничить, скажем, разные виды головной боли, различаемые такими словами по-японски?). А на вопрос о том, как в русском языке передаются действия газов, скорее всего, придется ответить: никак. Русская языковая картина мира эти значения в себя не включает. Итак, отрицаемая многими лингвистами безэквивалентная лексика, возможно, всё-таки существует.

Наличие звукоподражаний и образоподражаний важно для естественности японского языка. В одной статье сопоставлялись переводы на японский язык «Маленького принца» А. де Сент-Экзюпери (их за полвека издано не менее пяти). Из них лучшим признан тот единственный из них, в котором в нужных местах использовалась такая лексика, отсутствующая в оригинале. Например, там, где речь шла об удаве, заглатывавшем добычу без жевания, переводчик добавил образоподражание *perorito* [Shimozaki 2007: 43–44] (в БЯРС *perorito + taberu* ‘есть’ переведено как *уплетать, уминать*).

Хага Ясуси, отмечая важность для японского языка данного слоя лексики, не считает его существование специфичным, поскольку нечто подобное существует и в корейском языке [Haga 2004: 107, 194–195]. Вообще развитые редупликация и звуковой символизм — заметные ареальные черты многих генетически не связанных языков Дальнего Востока, включая японский. Но для носителей русского или английского языка эта черта, безусловно, бросается в глаза.

Любопытный материал по сопоставлению русской и японской картин мира содержится и в статье [Никипорец-Такигава в печати], посвященной речи русских, постоянно проживающих в Японии, в том числе женщин, вышедших замуж за японцев и значительно интегрированных в японское общество. Показательно, без каких японских слов они уже не могут обойтись в своей русской речи. Так, одна из этих женщин говорила про слово *kawaii*: «не знаю почему, но оно у меня автоматом выходит». Это частое в употреблении оценочное прилагательное (не специфически женское, но чаще используемое женщинами) переводится в БЯРС ‘милый, славный, миловидный, хорошенький, прелестный; крошечный, маленький’ (1, 299). Наличие многих переводных эквивалентов указывает на неполную точность каждого из них. Так говорят о любом живом существе, вызывающем положительные эмоции и в то же время покровительственное отношение. *Kawaii* может быть ребенок, девушка, животное, но не взрослый мужчина и даже не юноша и не женщина, которая по возрасту старше говорящего. Не обязательно даже объект должен быть маленьким: в телепередаче так называли, например, корову. Но всегда говорящий смотрит на этот объект сверху вниз. Ср. перечисленные русские эквиваленты, допускающие, по крайней мере, равенство с говорящим. Явно данной женщине не хватает этого слова в русской речи. Данное слово и однокоренное слово *kawaisoo* ‘вызывающий жалость’ упоминает в числе специфически японской лексики и Хага Ясуси [Haga 2004: 67].

Другой приводимый в статье пример — скорее грамматический, чем лексический. Слишком крайнее, по мнению женщины, мнение мужа она назвала *kangaesugi*. Это отглагольное существительное от *kangaeru* ‘думать’ в форме с суффиксом *-sugi*, имеющей значение совершения действия в объеме, превосходящем норму. По-русски оно иногда выражается префиксом *пере-* в одном из значений (скажем, в глаголе *перерасходовать*), однако глагол *передумать* имеет уже другое значение. А аналогичного японскому регулярного способа выражения данного значения в русском языке (как и в английском и многих других) нет. И эта женщина, став двуязычной, почувствовала необходимость восполнить недостаток русской языковой системы в этом отношении.

Данный пример из всех перечисленных в этом разделе — единственный, безусловно, определяемый языком: в японском языке есть грамматическая категория, в русском языке ее нет, а потребность в

ее выражении может возникнуть. Если бы русский язык массово контактировал с японским, то именно эта категория, вероятно, имела бы шансы проникнуть в русский язык (как могло бы быть заимствовано и слово *kawaii*).

4.2. Японская природа и японский язык

Часто особенности языковых картин мира находят, во-первых, в разном членении явлений действительности (хрестоматийный пример — соответствие русского *рука* двум английским словам *hand* и *arm*), во-вторых, в так называемой безэквивалентной лексике, которую невозможно перевести на другие языки или можно без ущерба для смысла передать лишь длинными описательными выражениями. Часто цитируется высказывание В. В. Набокова о том, что по-английски нельзя точно передать слова *оскомина* и *пошлость*, а по-русски — *privacy*, последнее слово считается трудным и для перевода на японский язык [Toyama 2005: 64]. И как перевести на русский или английский языки вышеприведенные слова *kawaii* и *kangaesugi*, не говоря уже о *фурри*? Вопросу о способах перевода на русский язык японских звукоподражаний и образоподражаний посвящена даже специальная диссертация [Румак 2006].

Подробный анализ такой лексики дан в книгах [Kindaichi 1978; Naga 2004], откуда мы берем большинство примеров. И очень большой процент такой лексики, так или иначе, связан либо с природой, либо с традиционным хозяйственным укладом, также имеющим постоянные отношения с природой. Это само по себе не означает какой-то особой роли природы для японцев, как склонны думать представители *nihonjinron*. Но длительная жизнь на одной и той же территории, природа которой за это время мало менялась, не могла не отразиться в языке.

Как писал Киндайти, в японском языке мало дифференцирована животноводческая лексика, что, кстати, значительно отличает японский язык от других алтайских. Например, в большом японско-английском словаре [Masuda 1974] японскому слову *ushi* даны пять эквивалентов 'cattle; a cow; a bull; an ox; a bullock'; ср. четыре русских эквивалента: *крупный рогатый скот, корова, бык, вол*. Там же даны шесть эквивалентов слову *hitsuji*: 'a sheep; a ram; a ewe, a wether, a shearling, a tegg', ср. русские *овца, баран, валух, ярка*. То же относится и к лошадям. Можно лишь говорить о самцах (*о-*) или самках (*те-*) соответствующих животных: *teushi* 'корова'. Менее дифференцированы по

сравнению с западными языками также сорта мяса и виды кожи [Naga 2004: 188–189].

Зато много лексики, связанной с морскими промыслами; например, как указывает Киндаити, английскому *fish* (как и русскому *рыба*) соответствует семь слов, не полностью совпадающих по значению. Это *sakana* ‘живая рыба или рыба как продукт’, *uo* ‘живая рыба’, *gyoogui* ‘рыба как зоологический класс’ (а также название созвездия), *gyooniku* (буквально *рыбье мясо*) ‘рыба как продукт’, *kaigyoo* ‘морская рыба’, *kawazakana* и *kawauo* ‘речная рыба’. Дифференцирована и лексика, связанная с морепродуктами: английскому *shrimp* ‘креветка’ соответствует несколько японских слов со значением разных видов креветок [Naga 2004: 188].

Такие языковые особенности лишь косвенно, через быт и хозяйственный уклад, но всё же обусловлены спецификой японской природы. Кочевники алтайцы, переселившись на Японские острова, приспособились к японским природным условиям, где горный рельеф и недостаток пастбищ всегда мешали развитию скотоводства. Разумеется, оно известно в Японии, а воины и там ездили верхом, но в целом всё это не играло там такой роли, как в Европе и тем более в Центральной Азии, поэтому богатая алтайская скотоводческая лексика не прижилась в японском языке. Нам однажды пришлось наблюдать такую сцену. Группа японских туристов увидела семью редких для Японии животных и пришла в замешательство, поскольку долго никто не мог вспомнить их название. Потом «слово было найдено», кто-то крикнул *yagi*, после чего туристы успокоились и долго повторяли забытое и восстановленное в памяти слово: *yagi* означает ‘(домашняя) коза; козел’. Роль же рыб и морепродуктов в японском пищевом рационе и в японском хозяйстве не требует объяснений.

Однако Хага Ясуси указывает и на то, что японский язык богат названиями птиц, насекомых, цветов [Naga 2004: 187]; он же отмечает, что в японском языке в отличие от западных редко говорят о цветах вообще, предпочитая говорить об отдельных видах цветов [Naga 2004: 50–51]. Цветы в Японии входят в материальную культуру: цветоводство там издавна развито. Но насекомые и дикие птицы хозяйственного значения не имеют, однако особый к ним интерес заметен: пластинки, магнитофонные кассеты, а теперь DVD с записями голосов птиц в Японии всегда популярны (в отличие, скажем, от России). Показательны и приводившиеся выше высказывания Цунода Таданобу о том, что лишь японскому мозгу доступны голоса птиц и

насекомых: при всей их фантастике они отражают то значение, которое придается в японской культуре этим голосам. Хага Ясуси также отмечает, что для американца или европейца пiski насекомых сливаются в надоедливый шум, но для японцев они дифференцируются [Naga 2004: 51].

Как отмечал Киндаити, в японском языке богата лексика, связанная с погодой, с сезонами года, весьма дифференцированы названия рельефа и морских просторов. Вот, например, стандартный даже для современной Японии эпистолярный жанр «сезонных приветствий» (*jikoo no aisatsu*), см. специальное их исследование [Бессонова 2003]. Каждый месяц традиционного японского календаря делится на две части и получается 24 слова для обозначения сезонов. Например, период с 6 по 19 января именуется *skookan* 'сезон вторых по суровости холодов', период с 20 января по 3 февраля — *daikan* 'сезон самых суровых холодов', период с 6 по 20 мая — *rikka* 'начало лета'. Указанный эпистолярный жанр (специальное письмо или фрагмент письма, в том числе делового) связан со стандартным выражением эмоций по поводу наступления того или иного сезона; если сезон неприятен своей погодой, то передается сочувствие. Письма такого рода имеют в зависимости от сезона специальные именованья: *kanchuu-mimai* 'письмо сочувствия в связи с наступлением сезона холодов', *shochuu-mimai* 'письмо сочувствия в связи с наступлением сезона жары' и т. д. При этом не обязательно, например, в случае *shockuu-mimai* собеседник на самом деле страдает от жары: таков ритуал в связи с календарем. В европейских культурах нет ничего подобного.

Роль времен года и их смены в японской культуре и японском языке подробно описывает Хага Ясуси. Он отмечает, например, такой случай. В Германии висела реклама одежды, соответствовавшая времени года, затем время года сменилось, а рекламный плакат остался прежним, на что не обратили внимания местные жители, но японцы удивились, поскольку на их родине не допустили бы такого несоответствия [Naga 2004: 49]. И в языке много слов с первыми компонентами *haru*-или *shun*- 'весна', *natsu*-или *ka*- 'лето' и др., вроде *harukaze* 'весенний ветер', а также любых слов сезонного характера вроде *kogarashi* 'холодный влажный зимний ветер', *hanakaze* 'весенний (буквально: цветочный) ветер', *nowahi* 'холодный осенний ветер' [Naga 2004: 47].

Вообще в японском языке много слов (значение которых часто трудно передать по-русски или по-английски), связанных с водой (морской, речной, дождевой) и влагой: нет слова, которое бы значило 'вода вообще', а есть особые слова для горячей (*yu*) и холодной (*mizu*) воды. Много видов дождя, а вышеупомянутая образоподражательная лексика особо богата в их обозначении: *potsupotsu* (о накрапывающем дожде), *shitoshito* (о морозящем дожде), *zaazaa* (о проливном дожде) и др. [Naga 2004: 45]. Богата и лексика, обозначающая промокание и отсыревание: *shittoni*, *shippori* ('промокать до нитки' и пр. [Naga 2004: 46]). Слова *oki* и *nada* в БЯРС переводятся как 'открытое море', но это не синонимы: *nada* всегда бурное море, а *oki* может быть бурным и спокойным.

Некоторые из перечисленных особенностей легко объясняются особенностями климата Японских островов или японского общества. В японском языке не могут не отражаться, во-первых, жизнь японцев во влажном субтропическом климате (иной климат на Хоккайдо и на Окинаве, но они явно не входят в общий стандарт), во-вторых, горный рельеф, в-третьих, островное положение страны. Влажный климат Японии и частые изменения погоды требовали развития соответствующей лексики. Но быстро меняющаяся погода сочетается с довольно строгим чередованием сезонов: максимальные холода, максимальная жара, сезон дождей, время цветения сакуры или сливы приходится большей частью примерно на одни и те же дни года, отсюда и развитость жанра сезонного послания. Очевидна особая роль воды в жизни народа, живущего в условиях высокой влажности. Любопытен материал японских фразеологизмов и пословиц, связанных с водой, приводимый в книге Т. М. Гуревич [Гуревич 2005: 99]. Отмечается их многочисленность. Конечно, уподобление человеческой жизни течению воды – не особенность японской культуры, но такие фразеологизмы и пословицы характерны для нее: *Hito no yukue to mizu no nagare* 'Ход жизни и течение воды' (то, что нельзя предугадать), *Saigetsu to ryuusui wa hito o matazu* 'Время (годы и месяцы) и текущая вода не ждут человека'. В этих выражениях ощущается и характер японских рек: мелких и быстро текущих.

Приведенных примеров (а их число может быть во много раз увеличено) достаточно, чтобы признать существенным отражение японских природных условий в японском языке. В этом нет никакой принципиальной специфики данного языка, хотя представители *nihonjinron* могут ее находить. Известно, например, что специалис-

ты по сравнительно-историческому языкознанию способны на основе реконструкций индоевропейского праязыка (другого материала просто нет) выяснить природные условия жизни древних индоевропейцев и черты их хозяйства. Если бы кто-то захотел, исходя только из словарей японского языка и не зная ничего больше про Японию, восстановить природные условия жизни носителей этого языка (ситуация, разумеется, фантастическая), он, вероятно, добился бы немалых успехов. Но при чём здесь языковые картины мира и гипотеза Сепира-Уорфа? Один из наименее подверженных стереотипам *nihonjinron* японских лингвистов Икэгами Ёсихико пишет по этому поводу: в японском языке действительно богата лексика, связанная с дождем, но это более особенность японской культуры, чем японского языка [Ikégame 2000: 42]. Конечно, к языку перечисленные примеры имеют прямое отношение, но трактовать их, исходя из гипотезы Сепира-Уорфа, никак нельзя. Особенности языка — здесь явное следствие условий жизни, определяемых внешними факторами: тут бытие воздействует на сознание, а не наоборот. Алтайские языки богаты скотоводческой лексикой, но в условиях Японии она оказалась ненужной, зато большинству других алтайских народов не было необходимости в отличие от японцев дифференцировать разные виды крабов и креветок. Что же касается картин мира, то при современном широком и нестрогом понимании этого термина можно считать, что любая специфика данного языка, проявляющаяся в разном членении окружающего мира, может сюда относиться.

4.3. Шкала цветообозначений

Одним из давно и активно разрабатываемых разделов семантики является изучение обозначений цвета в разных языках мира. Они удобны тем, что здесь в отличие от многих других классов лексики сравнительно легко выработать общую систему признаков, на основе которой возможно описание и сравнение разных систем. У нас издавались книги [Фрумкина 1984; Кульпина 2001]. Классической здесь считается американская работа [Berlin, Kay 1969], до сих пор используемая для изучения цветовых систем разных языков, включая японский [Stanlaw 2004: 211–234], см. о ней также [Кронгауз 2005: 90–91]. Эти авторы выделили универсальный набор из одиннадцати цветов, который либо целиком, либо частично используется в любом языке. Критерии отнесения обозначений цветов к основным: их обозначение одним корнем, обыденное употребление, использо-

вание по отношению к разнообразным объектам (например, не масти лошадей), отсутствие вхождения в зону другого обозначения. В результате были получены определенные универсалии: во всех языках есть слова со значением *белый* и *черный*, следующий по распространенности — *красный*, и т. д. до наиболее редких *серого*, *оранжевого*, *розового* и *фиолетового*. Наличие в языке обозначения, находящегося ниже в иерархии, требует наличия всего того, что находится выше.

Описанная система основана на представлениях носителей английского языка. В русском языке чаще выделяют две шкалы: одна шкала — семь цветов радуги, включая не предусмотренный Берлином и Кеем *голубой*; другая шкала — *белый* — *серый* — *коричневый* — *черный*, — не имеет стандартного наименования. Любопытно, что *розовый* цвет в отличие от соответствующего ему *pink* в России не принято включать в число основных цветов, хотя он соответствует указанным выше критериям. У нас принято считать английскую систему, не различающую *голубой* и *синий* цвета, более бедной, чем русская система. Впрочем, и в русском языке дистанция между голубым и синим меньше любой другой. А. Солженицын назвал одну из глав «Архипелага ГУЛАГ» «Голубой кант», имея в виду форму госбезопасности. Он, разумеется, исходил из ассоциации с «мундирами голубыми», но сравнение данной формы с авиационной явно свидетельствует в пользу того, что голубой цвет присутствует как раз в авиационной форме, а в другой форме он синий. Мог бы он назвать голубым присутствующий в пограничной форме цвет, соседствующий с ним с другой стороны спектра? Очевидно, нет: грань между *голубым* и *зеленым* очень строгая. Нет, кстати, как мы увидим, точного аналога *голубому* в японской системе, по крайней мере, среди основных цветов.

Японский язык нередко вспоминают в связи с тем, что там привычным для нас семи цветам радуги соответствуют не семь и не шесть, а пять цветов. Японское *aoi* может переводиться в зависимости от контекста и как *синий*, и как *голубой*, и как *зеленый*. Например, в БЯРС даны все три этих перевода (*синий* и *голубой* даны как варианты одного значения, а *зеленый* — как отдельное значение), а также значение 'незрелый' (1, 24). Такая подача значений — еще один пример того, что различие *синего* и *голубого* отличается в сознании носителей русского языка от других различий цветов. Для значения *зеленый* даны примеры *aoi tayoо* 'зеленый луч' (заходящего солнца) и *kaо ga aoi* 'бледен' (буквально *лицо зеленое*). В большом толковом словаре [Коојјен 1976: 10] *aoi* определяется и как цвет неба, и как цвет травы, и как цвет

незрелых овощей. Безусловно, исконно в японском языке не расчленилась синяя и зеленая часть спектра (разделение двух значений в БЯРС — отражение русских представлений). Однако в полной мере такое единство существовало лишь в старом языке (до начала европеизации Японии), сейчас значение *aoi* уже сдвинулось в область голубого и синего, сохраняясь в значении 'зеленый' лишь в устойчивых сочетаниях. Это значение теперь передается другими словами: *midoriro* (буквально 'цвет молодой зелени'), его сокращением *midori* и заимствованием из английского *gunin*.

В книге Дж. Стенлоу концепция Б. Берлина и К. Кея (названная «вызовом гипотезе Сепира — Уорфа» [Stanlaw 2004: 217]) была проверена на японском материале. Выделены двенадцать основных цветообозначений, некоторые из которых включают в себя компонент *iro* 'цвет' (первые четыре слова даются в форме основы, употребляющейся сравнительно редко, они чаще всего являются прилагательными с окончанием словарной формы -и). Это *shiro* 'белый', *kuro* 'черный', *aka* 'красный', *ao* 'синий', *murasaki* 'фиолетовый', *midori(iro)* 'зеленый', *kiro* 'желтый', *chairo* 'коричневый', *tomoiro* 'розовый', *daidaiiro* 'оранжевый', *haiiro* и *nezumiro* 'серый'. То есть это цвета Б. Берлина и К. Кея, только для серого цвета взяты два слова, не вполне синонимичных, из которых трудно выбрать основное. Пять первых слов непроизводны, остальные включают в себя компонент со значением 'цвет'. Последние пять слов буквально означают 'цвет чая', 'цвет персика', 'цвет апельсина', 'цвет пепла', 'цвет мыши'. *Midori* и *ki* находятся в промежуточном положении: *midori* стандартно используется без *iro*, а *ki*, чаще употребляемое в составе *kiiro*, в современном языке уже ничего, кроме как 'желтый', не означает. Существует еще восемь обозначений, не входящих в набор Берлина и Кея, из них одно непроизводное *kon* 'темно-синий' (между синим и фиолетовым), остальные производны (отметим среди них *sorairo* 'цвет неба', встречающееся в русско-японских словарях как эквивалент слова *голубой*). Отмечается, что *kon*, *mizuiro* 'светло-синий, голубой' ('цвет холодной воды') и *kimidori* 'желто-зеленый' не менее частотны, чем последние четыре слова из первого списка. Наконец, имеются девять заимствований из английского: *pinku* 'розовый', *orenji* 'оранжевый', *guree* 'серый', *buraun* 'коричневый', *kaaki* 'хаки', *beeju* 'бежевый', *kurimuiro* 'кремовый', *emerarudo* 'изумрудный', *guriin* 'зеленый'. Среди них нет ни одного из цветов, обозначенных непроизводными японскими словами (слова вроде *howaito* 'белый' существуют лишь в устойчивых

сочетаниях: *howaito hausu* 'Белый дом'), зато в конце шкалы Берлина и Кея они появляются: как указывает Дж. Стенлоу, *pinku* и *orenji* частотнее, чем соответствующие им *tomoiro* и *daidaiiro*. Отметим и распространность *guriin*, о соотношении *guriin* и *midori* см. ниже.

Далее Дж. Стенлоу опросил информантов о том, какие цвета они считают основными [Stanlaw 2004: 219–221]. Более трех четвертей назвали белый, черный, красный, синий, желтый, зеленый (*midori*), более половины фиолетовый и коричневый (*chairo*). Далее следовали розовый (43 %) и оранжевый (39 %), но обозначены они были заимствованными словами *pinku* и *orenji*. Около четверти информантов указали цвета, обозначенные словами *kon*, *mizuiro*, *kimidori*, как указывает Дж. Стенлоу, для них нет точных эквивалентов в английском языке (как, по-видимому, и в русском). Все три обозначения серого цвета назвали лишь 10–15 % информантов, как и *buraun* 'коричневый' и *gin'iro* 'серебристый' (цвет серебра). Остальные цветообозначения, включая *sorairo* 'голубой' и исконные наименования розового и оранжевого, почти никто не вспомнил.

Американский исследователь указывает, что основная часть шкалы Берлина и Кея вполне соответствует данным опроса, но имеют два отличия на ее периферии. Во-первых, очень низки данные для серого цвета, несмотря на три имеющихся слова, включая американизм; следует учитывать, что *пепельный цвет* и *мышинный цвет* вызывают в Японии отрицательные ассоциации [Stanlaw 2004: 233]. Ср. русский язык, где заимствованные прилагательные *оранжевый* и *фиолетовый* ощущаются, наоборот, как периферийные по сравнению с *серый*. Во-вторых, возможно, в качестве двенадцатого основного цвета в промежутке между синим и фиолетовым следует добавить цвет, обозначаемый японским словом *kon* [Stanlaw 2004: 234]. Можно ли в таком случае считать тринадцатым цветом голубой, имеющий два японских соответствия *mizuiro* и *sorairo*?

Очевидны еще два результата. Во-первых, традиционное различие синего и зеленого уже ушло в прошлое, а *aoi* обозначает синий цвет (хотя переносное значение 'незрелый' так и осталось за ним), тогда как зеленый цвет — *midori*. Вероятно, здесь сыграло роль знакомство с системой обозначений цвета в западных языках, где зеленый и синий цвет строго разграничены. Во-вторых, влияние западной системы сказалось и в прямых заимствованиях: они заняли в системе места, которые требовалось заполнить. Оранжевый и розовый цвета (но не фиолетовый) исконно не были в Японии основными, но

распространение западных представлений о цвете потребовало их постоянного обозначения (то же, по-видимому, произошло и в России с оранжевым и фиолетовым цветами). Но если для зеленого цвета расширило употребление исконное слово, то для розового и оранжевого исконные слова так и остались на далекой периферии, не выдержав конкуренции с американизмами. Возможный кандидат для распространения — *guree* ‘серый’: Дж. Стенлоу пишет, что современная японка не купит кофточку мышинного цвета (*nezumiuro*), но если назвать ее цвет *guree*, то к ней отнесутся иначе [Stanlaw 2004: 208].

Однако и с зеленым цветом, лишь недавно ставшим для японцев одним из основных цветов, ситуация не проста: с *midori* во многих случаях конкурирует *guriin* из *green*. Соотношение этих слов рассмотрел в одной из статей крупнейший японский социолингвист Сибата Такэси (1915–2007). Он указывает, что они, как правило, не могут заменяться одно на другое и не являются точными синонимами, при этом их различие не всегда соответствует различию по признаку «японский — иностранный». Листья и трава всегда *midori*, но искусственное травяное покрытие для гольфа — *guriin*, как и кофточка. Исходя из таких примеров, Сибата приходит к выводу: всё естественное — *midori*, а искусственное, сделанное человеком — *guriin* [Shibata 1993: 17–18]. Такая трактовка объясняет многие примеры. Но вот в телевизионной передаче о природе Окинавы показали маленькую тропическую ящерицу. Это — природный объект, причем даже живущий в Японии. Но ее цвет был охарактеризован словом *guriin*! Так что скорее разница всё же в культурных ассоциациях: всё экзотическое (а Окинава для большинства японцев — всё же не типичная Япония) и всё явно связанное с западной культурой — *guriin*.

Впрочем, приписывание того или иного цвета тому или иному объекту в японском языке может отличаться от привычного для нас. Выше упоминалось, что светло-голубой цвет японцы называют цветом воды, что нам может казаться странным: очевидно, имеется в виду не вода в сосуде или колодце, а вода в море или озере. А Икэгами Ёсихико приводит такой пример: по-английски неочищенный сахар — *brown sugar* ‘коричневый сахар’, но японцы называют его *akazato* ‘красный сахар’ [Ikegami 2000: 267]. Русская точка зрения на цвет здесь совпадает с английской, но японское *chairo*, по-видимому, более периферийно, чем русское *коричневый* или английское *brown*, и зона коричневого может сокращаться за счет зоны красного цвета.

Отметим еще, что при большом значении времен года в японской культуре они могут постоянно ассоциироваться с теми или иными цветами. Как отмечает Хага Ясуси, для японца весна зеленая (*aoi*, а не *midori*: образ традиционен), лето красное, осень белая, а зима черная [Хага 2004: 47] (исконные или китайские ассоциации?). Отметим, что в русском языке тоже весна — если не зеленая, то связана с зеленью, а лето — издавна красное. Зато осень и зима характеризуются обратно по сравнению с Японией: осень может быть черной (скажем, у А. Кольцова), а зима всегда белая.

Подводя итог, можно сказать, что Дж. Стенлоу не совсем прав, называя методику сопоставления обозначений цвета в разных языках «вызовом гипотезе Сепира-Уорфа». Даже Б. Уорф признавал, что каждый язык должен как-то отражать существующий независимо от него закон всемирного тяготения. Какие-то существенные объективные различия в области цветообозначений более естественно обозначать в языке, чем какие-то менее важные. Гипотеза Сепира-Уорфа в любом ее варианте не предполагает, что картины мира разных языков должны быть полностью различны; наоборот, Уорф замечал, что в разных европейских языках, несмотря на различия структур этих языков, они удивительно похожи («Среднеевропейский стандарт»). Но даже русская и английская системы цветообозначений не идентичны за счет *глубокого* цвета, а традиционная японская система отличалась от каждой из них еще больше. Но современная японская система обозначений цвета под влиянием английского языка и европейской культуры приблизилась к «среднеевропейскому стандарту», а недостающие компоненты восполняются за счет заимствований. Здесь мы уже сталкиваемся с существенной стороной японской культуры в целом, которую мы рассмотрим в шестой главе.

Мы рассмотрели только отдельные фрагменты того, что может быть названо японской картиной мира. При этом лишь меньшинство из них можно охарактеризовать как явления, непосредственно обусловленные языком: сюда можно отнести в какой-то степени обозначения цвета (но и они проницаемы для влияния, например, западной культуры) и, безусловно, грамматическую категоризацию, упомянутую на примере глагольной категории со значением совершения действия в объеме, превосходящем норму. Вопрос о влиянии японских грамматических категорий, набор которых значительно отличается от привычного для нас, на картину мира, исключительно важен, но

требует дополнительных исследований; о так называемых категориях вежливости мы специально будем говорить в главе 7. Но чаще мы сталкиваемся с тем, что особенности японской картины мира обусловлены причинами, лежащими вне языка. И чаще это не «японский характер» или «японская ментальность», на которых постоянно бессознательно или сознательно спекулируют, а объективные условия жизни, которые мы рассматривали в связи с вопросом об отражении японской природы в языке. Мы не отрицаем того, что за «ментальностью» также стоит нечто объективное: во второй главе речь шла об объективно существующих массовых представлениях и воззрениях. Но мы видели, как в них искажается реальность. А идеал, закрепленный в пословицах, изречениях, а в наши дни в рекламных плакатах и роликах, может не соответствовать повседневному поведению. «Культура молчания», безусловно, является идеалом, но на деле японцы не более молчаливы, чем другие народы.

Мы пока что не касались, безусловно, важнейшей черты японской языковой картины мира — противопоставления «свой — чужой», «пространство внутри (*uchi*) — пространство вне (*soto*)». Его мы специально рассмотрим в следующей главе.

Глава 5

«ЯЗЫК ДЛЯ СВОИХ» и «ЯЗЫК ДЛЯ ЧУЖИХ»

5.1. Противопоставление «свой — чужой»

В японском языке постоянно употребляются слова (существительные — ваго) *uchi* ‘пространство внутри; внутри’ и *soto* ‘пространство вне; вне’. Много и сложных слов — канго с соответствующими корнями *nai* и *gai* (уже упоминалось слово *gaijin*, именующее иностранца). Они обозначают важнейшее для японской языковой культуры противопоставление, которое может быть обозначено как «свой — чужой». Как пишет одна из исследовательниц японской языковой культуры, противопоставление *uchi* — *soto* — «основное понятие, которое формирует японское общество» [Tanaka 2004: 22]. У нас оно специально изучалось в недавно вышедшей книге Т. М. Гуревич [Гуревич 2005: 69—78].

В самом общем виде можно сказать, что для любого говорящего и собеседник, и все лица, упоминаемые в его речи, должны обязательно оцениваться с точки зрения принадлежности или непринадлежности к одной и той же с ним группе. Понятия «своего» и «чужого» не абсолютны, а относительны. Как «свои» могут рассматриваться члены своей семьи в противоположность остальным людям, соседи в противоположность далеко живущим, уроженцы одной местности в противоположность уроженцам иных мест, сотрудники своей фирмы в противоположность персоналу иных фирм, люди одного пола в противоположность иному полу и т. д. Каждый человек может для того же самого человека быть «своим» в одной ситуации и «чужим» в другой. Предельный случай — отношение к всегда «чужому» иностранцу, при котором «своим» будет считаться любой соотечественник. Следующая ступень — незнакомый человек, о котором всё-таки что-то можно сказать: бывают очевидны пол, возраст, раса (является ли он японцем, ясно не всегда: кореец по внешнему виду может от

японца не отличаться). Однако у незнакомого может не быть категории, в которую его можно включить, поэтому в общении с ним могут возникать трудности, скажем, неясно, как к нему обратиться [Takiura 2007a: 37]. Наоборот, предельный случай «своего» — сам говорящий, который в каких-то ситуациях может быть противопоставлен всем остальным людям.

Каждый японец в течение всей жизни входит во множество групп, начиная от семьи и кончая государством. Разумеется, это относится не только к японцам, но к любым людям в современном обществе. Однако в Японии групповые отношения особо строги, в том числе и в языке. И в языке они проявляются тройко: в использовании тех или иных средств языка, в стратегиях общения со «своими» и с «чужими» и в использовании специальных «языков для своих» и «языков для чужих».

Как мы уже указывали, систематическое описание строя японского языка не входит в наши задачи. Однако надо указать на ряд случаев, когда отношения «свой — чужой» отражаются в лексическом значении слов и даже в японской грамматике. Нередко противопоставляются множество людей, куда входит говорящий, и множество людей, куда он не входит (предельным случаем «мы» может оказаться и очень часто оказывается «я»). Данное разграничение иногда как бы компенсирует (конечно, с европейской точки зрения) отсутствие в японском языке грамматической категории лица.

Во второй главе приводился пример с раздачей котят. Там употреблен глагол *sashiageru* 'давать', он обозначает это действие, прежде всего, в том случае, когда что-то передается от множества людей, в которое входит говорящий, к множеству людей, в которое он не входит (мы формулируем пока что это значение не совсем точно, ниже мы его уточним); имеется также и значение этикетной вежливости к лицам второго множества. В зависимости от контекста этот глагол может значить: *я даю Вам, я даю вам, я даю ему, я даю ей, я даю им, мы даем Вам, мы даем вам, мы даем ему, мы даем ей, мы даем им* (скажем, котят) (варианты *я даю тебе* и *мы даем тебе* исключены из-за значения вежливости). То же значение без компонента вежливости передается глаголами *ageru* и *uru*, а противоположное значение передачи в сторону говорящего — глаголами *kudasaru* (с вежливостью) и *kureru* (без вежливости). Но это еще не всё. Оказывается, что вышеуказанное правило необходимо уточнить: например, в случае *sashiageru* множество «своих» применительно к данному действию может и не

включать говорящего: например, если мой сын дает котят профессору; возможен и, например, перевод *он дает ему*. Но всегда того, кто дает, говорящий считает в большей степени «своим», чем того, кому дают, действие так или иначе направлено от «своего» к «чужому». То же относится и к *ageru* и *yaru*, а в случае *kudasaru* и *kureru*, наоборот, более «свой» тот, кому дают. Мы не можем однозначно сказать, как будет по-английски *рука*: сначала надо уточнить, о какой части руки (*hand* или *arm*) идет речь. Но так же нельзя и сказать, как будет по-японски *давать*: глаголов там пять, и они не синонимичны.

Но и это не всё: пять описанных глаголов могут выступать и как вспомогательные. Присоединяясь к знаменательным глаголам, они уже не значат 'давать', а имеют грамматическое значение направленности действия либо от говорящего, либо к говорящему. Скажем, *yonde sashiageru* значит 'я читаю уважаемому человеку', *hatte sashiageru* — 'я покупаю для уважаемого человека', *yonde kudasaru* — 'уважаемый человек читает мне' и т. д. Такие грамматические категории в науке называют соответственно категориями центробежности и центростремительности, подробнее см. о них [Холодович 1952].

Читателю, знакомому с японским языком, приносим извинения за сильно упрощенное изложение, а читателю, с ним не знакомому, вероятно, особенности японского языка показались очень изощренными. Но таков язык, а для японцев не менее изощренны, скажем, русские виды глагола. Важно, что даже в грамматике могут отражаться отношения, связанные с противопоставлением «свой — чужой»; на это применительно к категориям центробежности и центростремительности обращают внимание и исследователи японской языковой культуры [Моерап 1989: 11].

Стратегии общения на японском языке всегда очень тесно связаны с этикетом, а на противопоставление «свой — чужой» накладывает другое важнейшее противопоставление «высший — равный — низший», отражающее иерархические отношения в обществе. Об этом противопоставлении мы будем специально говорить в седьмой главе.

Как отмечают Акасу Каору и Асао Кодзио, варьирование речи в зависимости от ситуации и психологической дистанции между собеседниками бывает в любом языке, включая английский, но если в последнем играет роль, в первую очередь, степень формальности диалога, то в японском на нее накладывається отношение *uchi—soto* [Akasu, Asao 1993: 90, 93]. Они приводят такой пример. Стандартное приветствие *konnichiwa* широко употребляется, но лишь к «чу-

жим» в данной ситуации (например, при возвращении домой членам семьи говорят не *konnichiwa*, а *tadaima*). В японском кинофильме отец ушел из семьи и спустя много лет вернулся, подросток сын говорит ему *konnichiwa*, чем подчеркивается его отношение к отцу, как к чужо-му человеку [Akasu, Asao 1993: 94]. Авторы статьи указывают, что в английском приветствии такое значение передать нельзя: там даже незнакомому можно сказать *Hello!* Показательно и то, что для обозначения близких родственников постоянны различия слов для внутри-семейного общения и в разговоре с посторонними. В семье отца называют *otoosan*, мать — *okaasan*, старшего брата — *niisan*, старшую сестру — *neesan*, а в общении вне семьи их же соответственно — *chichi, haha, ani, ane* (об этом специально будет говориться в главе 7).

В 1997 г. во время встречи на Енисее Б. Н. Ельцина и тогдашне-го премьер-министра Японии Хасимото Рютаро российский прези-дент провозгласил: «Будем общаться по-дружески: Борис и Рю». Он, безусловно, исходил из практики своих взаимоотношений с лидера-ми западных стран: скажем, по-английски соответствующие имено-вания обычны. Но у японцев, слышавших эти слова в переводе по телевизору, они не могли не вызывать недоумения: в Японии по име-нам, да еще сокращенным, называют в основном детей, иногда жен-щин, а взрослого мужчину так могут назвать только старшие члены семьи, но никак уж не иностранцы. Впрочем, до Ельцина таким же образом обращался к премьер-министру Накасонэ Ясухиро и прези-дент США Р. Рейган, что тоже было трудно принять японцам [Naga 2004: 254].

И еще пример. При приеме посетителя сотрудник фирмы не должен употреблять вежливые формы, включая показатель *-san* при фамилии, по отношению к своему начальнику (даже если он по соци-альному рангу выше посетителя): начальник в данный момент «свой», а посетитель «чужой», и именно к «чужому» надо проявлять этикет. В таких случаях противопоставление «свой — чужой» определяет иерархические отношения [Алпатов 1973: 39].

Наконец, это противопоставление значимо и для соотношения вербальной и невербальной информации в диалоге. «Культура мол-чания» более или менее строго соблюдается при общении с «чужи-ми», в таких случаях рекомендуется взвешивать каждую фразу и не наносить ущерб собеседнику. Замечания о «языковом бедламе» от-носятся, прежде всего, к общению со «своими», где эти ограниче-ния снимаются. Японцы, проводящие досуг в своей компании (в том

числе и японские туристы за границей, часто не обращающие внимания на аборигенов), могут показаться постороннему наблюдателю даже очень болтливыми. Но внутри своей группы открываются совсем иные возможности для недоговорок: широко используется эллипсис, опущение всего того, что вытекает из контекста.

5.2. «Языки для своих» и «языки для чужих»

Хотя в Японии все (исключая временно находящихся иностранцев) говорят на японском языке, там нередко проявляется тенденция иметь особые языки для «своих» и «чужих», переходя с одного на другой в зависимости от ситуации. Это могут быть разные языки в обычном смысле, если «чужой» — иностранец, но они могут быть и разными вариантами японского языка. В современной Японии такая тенденция даже усилилась по сравнению с тем, что было раньше, поскольку теперь каждый японец (исключая небольшую часть людей старшего поколения) благодаря школьному обучению и телевидению владеет (не всегда полностью) нормами литературного (стандартного) языка. Естественно его повсеместное употребление не только как языка книги и высокой культуры, но и в качестве «языка для чужих»: каждый японец его поймет.

Представления об этом языке в Японии имеют некоторую специфику, особенно по сравнению с Россией. В частности, там нет термина, в полной мере соответствующего привычному для нас термину *литературный язык*. Буквальным его соответствием по-японски мог бы быть термин *bungo*, но в первой главе мы видели, что он имеет совсем иное значение. Но дело не только в этом. Для России разных исторических эпох очень характерно представление о писателях (особенно прозаиках и драматургах) как «знатоках» и «хранителях» русского языка, это отражается и в самом термине *литературный язык*, а сам этот язык нередко отождествляется с языком художественной литературы. В Японии традиция иная: эта сфера речевой деятельности (как устной, так и письменной), как мы уже отмечали, никогда не считалась в Японии столь престижной, а в некоторые эпохи прозаическая литература на японском языке вообще считалась женским занятием. В последние полтора столетия престижность «изящной словесности» под западным влиянием несколько поднялась, но и сейчас в отличие от России правильный язык не связывается в Японии с художественной литературой. Как писал один японский социолингвист, в современном мире (реально, естествен-

но, имеется в виду Япония) законодатель языковой нормы – не писатель, а массовая информация [Toyoda 1972: 15].

Вот показательный, как нам кажется, пример. Японский рецензент советского детского энциклопедического словаря по языкознанию [Энциклопедический словарь 1984] при общей его положительной оценке выразил недоумение по поводу двух его свойств: отсутствия статей о западных ученых и включения в него большого числа статей о языке классиков русской литературы. Как он предположил, в Японии никому не придет в голову помещать в подобный словарь статьи о своих классиках [Gengo-seikatsu 1984, 12: 37]. Отметим, что в новом издании словаря [Энциклопедический словарь 2006] статьи о зарубежных ученых добавили, но от статей о языке классиков не отказались: для российской традиции это не недостаток.

Видимо, поэтому в японском языке (как, впрочем, и в западных языках) русскому термину «литературный язык» соответствуют иные по своей структуре термины. И этих терминов не один, а два, буквально означающие «стандартный язык» (*hyoojungo*) и «общий язык» (*kyootsuugo*). Употреблявшийся ранее третий термин «устный язык» (*koogo*) уже почти не применяется после выхода бунго из активного употребления. А два основных термина – не синонимы. «Стандартный язык» – норма, зафиксированная в учебниках и грамматиках (в том числе для иностранцев), на практике не реализуемая полностью, а «общий язык» – тот, на котором реально говорят образованные люди, допускающий варианты (в том числе региональные) и небольшие отклонения от жесткого стандарта. Различие этих понятий специально описывал С. В. Неверов [Неверов 1982: 14–15]. Как пишут японские авторы, сейчас по всей Японии болтают на *kyootsuugo* [Nihongo 1983: 137], но, разумеется, не на *hyoojungo*.

Это различие можно сопоставить с несколько иным различием, введенным для русского языка позднесоветского времени М. В. Пановым, который противопоставил кодифицированный литературный язык (КЛЯ) и разговорный язык (РЯ). Он писал: «РЯ – не кодифицированный. ... Он усваивается только путем непосредственного общения между культурными людьми. Ведь РЯ – одна из двух систем, составляющих литературный (культурный) язык, поэтому его носители – те же лица, которые владеют КЛЯ» [Панов 1990: 19]. Здесь же он связывал появление РЯ с реакцией на «оказенивание» литературного языка в советский период, считая, что до революции РЯ не было.

Вопрос о времени появления РЯ в составе русского языка представляется спорным. Но независимо от этого утверждение о формировании и существовании РЯ как реакции на «советскую культуру», естественное для оппозиционной к власти интеллигенции 70–80-х гг., не подтверждается тем, что и в Японии выделяется аналог РЯ. Кстати, распространено в Японии и недовольство «казенным» нормативным языком [Mizutani 1981: 146–149]. А сейчас уже очевидно, что смена у нас общественного строя в начале 90-х гг. не привела к исчезновению РЯ, стали лишь менее явными границы между ним и КЛЯ.

Многие японские исследователи отмечают большое языковое варьирование в японском обществе, далеко не сводящееся к разграничению литературного языка, диалектов и просторечия. Скажем, один из японских исследователей отмечает, что японские студенты пишут сочинения на правильном литературном языке, а говорят между собой совершенно иначе [Gengo-seikatsu, 1984, 11: 8–12]. Постоянно приводятся примеры слов и форм, которые не соответствуют стандартным нормам, но допускаются в разговорной речи образованных людей, например, потенциальная форма от глагола ‘видеть’ *mireru* вместо строго нормативной формы *mirareru*: степень допустимости таких грамматических форм дискутируется в японской лингвистике уже около полувека. Сейчас уже можно сказать, что такие формы не входят в *hyoojungo*, но допускаются в *kyootsuigo*. В терминах М. В. Панова первое понятие соответствует КЛЯ, а второе – КЛЯ и РЯ вместе.

Вопрос о поддержании и развитии языковой нормы в Японии мы подробно рассматривали в книге «Япония: язык и общество» [Апатов 1988–2003: 122–138], поэтому повторим лишь ее основные выводы. В стране существуют два центра нормализаторской деятельности: Министерство просвещения и полугосударственная радио- и телекомпания NHK. Глобальных реформ не было уже более полувека, но частные реформы происходят постоянно. Суть их заключается, прежде всего, в приспособлении норм к реальному употреблению, «стандартного языка» к «общему языку». В отличие от первых послевоенных лет не ставится задача изменять язык через изменение норм; наоборот, норма приспосабливается к стихийным изменениям в языке. Представляется, что такой опыт заслуживает внимания. Впрочем, за последние годы в этой области кое-что изменилось: государственное вмешательство в вопросы языковой нормы

уменьшилось, что проявилось в упразднении (мотивированном экономией) в начале 2000-х гг. основного правительственного органа по этим вопросам — Совета по японскому языку при Министерстве просвещения. Заметны и некоторые изменения нормативной политики в отношении заимствований из английского языка (см. следующую главу).

Однако, как выше уже было сказано, всё это «язык для чужих», хочется иметь и особый «язык для своих». Именно этим объясняется то, что японские диалекты (в отличие, скажем, от русских) необычайно устойчивы. В первой половине XX в., когда шло распространение в массах литературного языка, диалекты пытались искоренить, в школе старались от них отучить. Но в послевоенное время от этого отказались. По-прежнему диалект в Японии служит «семейным средством коммуникации» [Grootaers 1982: 329]. И к любому хорошо знакомому человеку, если он воспринимается как «свой», можно обратиться на диалекте. А вот с иностранцем говорить на диалекте неудобно. Наш замечательный ученый Евгений Дмитриевич Поливанов в 1914 г. изучал диалект деревни около Нагасаки, его материал стал основой книги [Поливанов 1917]. При выдающихся способностях к языкам он выучил его легко, но допустил непростительную ошибку: попытался поговорить на диалекте с жителями деревни. И сразу контакт был потерян, хотя в те времена большинство людей в деревне больше ни на чём не могло говорить [Sugito 1983]. Сейчас же чаще всего даже крестьяне свободно владеют двумя языковыми системами и сознательно переходят с одной на другую. Как-то автор книги видел по телевизору такой эпизод: деревенские женщины, думая, что они одни, говорили между собой на диалекте, но, увидев, что на них направлена телекамера, сразу стали беседовать на вполне литературном языке.

Конечно, диалектные черты более явны в деревне и в малых городах, но и в крупных городах диалектные и региональные черты могут быть устойчивы, особенно в акцентуации. Тем не менее, диалекты, сохраняя свою социальную роль, структурно меняются под влиянием литературного языка. Наиболее традиционные диалекты исчезают. Например, в деревне, которую когда-то посетил Е. Д. Поливанов, уже к концу 70-х гг. прежним диалектом владели лишь несколько пожилых женщин [Sugito 1983: 195]. Но это не значит, что в быту в таких деревнях говорят только на литературном языке. Отмечается, что место «старых» занимают «новые диалекты», в кото-

рых сосуществуют исконные диалектные и литературные черты, а кое-что в лексике и даже в грамматике появляется впервые [Ipoue 1982: 154–166]. Массовые обследования одних и тех же районов с интервалами в 20–30 лет показывают устойчивость многих, хотя не всех диалектных черт [Chiki 1974]. Маленькие дети обычно начинают овладение языком с диалекта, поскольку его употребляют в семье, и лишь потом благодаря сначала телевизору, а потом школе осваивают общий язык. У нас в последние годы японские диалекты, в том числе с точки зрения социального функционирования, много изучает С. А. Быкова, см. ее работы [Быкова 2000; 2002а; 2004].

В последние десятилетия не только не пытаются искоренять диалекты, но их считают национальным достоянием, активно изучают, а записи хороших носителей исчезающих традиционных диалектов хранятся наравне с записями голосов крупных артистов [NHK 1972]. В школах теперь вводится даже специальный курс правильной речи на диалекте той местности, где находится школа. Конечно, обучать каждому диалекту и говору невозможно, поэтому детей фактически учат некоторым региональным вариантам языка.

Отмечают, что в последнее время в речи молодежи, особенно девушек, стала проявляться мода на использование диалектных слов и даже грамматических форм; при этом заимствуются формы из разных диалектов, в том числе и таких, которые никогда не использовались в данной местности [Благовещенская 2007]. Эти диалектные черты уже не имеют территориального характера, в условиях большого города это лишь способ еще более отделить язык для «своих», для своей молодежной компании, от языка для «чужих».

По вопросу о будущем японских диалектов существуют разные точки зрения, но большинство специалистов еще в 70–80-е гг. полагали, что они сохранятся и в XXI веке. Это подтвердилось.

Особо следует рассмотреть ситуацию на островах Рюкю (или на Окинаве, как их часто называют по самому большому острову). Эти острова длительное время были обособлены от Японии: в 1429–1609 гг. они были полностью независимы, в 1609–1872 гг. полунезависимы, а в 1945–1972 гг. находились под управлением оккупационных войск США. В прошлом их жители считались отдельным народом: например, посетивший их в середине XIX в. И. А. Гончаров в путевых очерках «Фрегат “Паллада”» называет «ликейцев» в одном ряду с японцами, китайцами и корейцами. Диалекты Рюкю сильно отличаются от других диалектов Японии, а до начала XX в. суще-

ствовала письменность на окинавском диалекте. Именно поэтому принято было говорить об особом рюкюском языке, что сохранилось в учебнике А. А. Реформатского. Но с социолингвистической точки зрения можно считать, что острова Рюкю входят в зону японского языка: их жители рассматриваются как часть японского этноса, все они владеют *kyootsuugoi* только на нем читают и пишут. Такая точка зрения официально принята в Японии, где рюкюский язык не признается, а диалекты считаются частью диалектов японского языка.

Ситуация на Рюкю описана в книге Н. Готлиб, которая склонна считать рюкюские диалекты отдельным языком, а жителей островов, число которых, по оценкам, более полутора миллионов, — отдельным этносом [Gottlieb 2005: 23]. Она даже считает возможным отделение Рюкю в будущем от Японии [Gottlieb 2005: 26], впрочем, признавая, что большинство населения не противится ассимиляции [Gottlieb 2005: 25]. О языковой ситуации на этих островах см. также специальное исследование [Matsumori 1995] и статью [Быкова 20026].

Итак, противопоставление «свой — чужой» проявляется в японском языке на самых разных уровнях. Японские специалисты считают его устойчивым, в том числе потому, что современная жизнь всё более разобщает людей, и устойчивое общение сохраняется лишь внутри группы, среди «своих» [Nihongo 1983: 35, 90].

Еще один аспект этого противопоставления — отношение к «своему» и «чужому» внутри самого языка, то есть к исконному и заимствованному в японском языке. С этим отношением тесно связан и вопрос об отношении к другим языкам, к которым приходится сталкиваться японцам, прежде всего, к английскому языку. К этим вопросам мы и переходим.

Глава 6

АНГЛИЙСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ И АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК В ЯПОНИИ

В главе в основном рассматривается проблематика, связанная с культурным столкновением японского и английского языка. Сейчас американская массовая культура всё более господствует в мире, а ее распространение включает в себя и давление английского языка на другие языки. Япония, где это давление значимо уже более столетия, имеет здесь свои особенности. Мы рассмотрим две основные проблемы: влияние английского языка на японский и владение английским языком в Японии. Как уже было сказано, два этих процесса всегда шли в Японии по-разному: использование в японском языке слов и оборотов, пришедших из английского языка, имело гораздо большее значение, нежели японо-английское двуязычие, никогда (кроме, может быть, самых последних лет) не бывшее массовым. Также мы рассмотрим и роль и место в Японии других языков: немецкого, французского, русского, китайского, корейского, айнского.

6.1. Гайрайго в современной Японии

6.1.1. Подсистема гайрайго

Заимствования неизбежно существуют в любом языке. Однако в большинстве языков, включая русский, они представляет собой четко не структурированное множество слов, очень различных по своим функциям: от не полностью освоенных языком слов с узкой сферой, заимствованность которых ощущается всеми, до полностью освоенных обиходных слов, заимствованность которых известна только специалистам. Ср. в русском языке *боа, окапи, кюфе*, с одной стороны, и *хлеб, товар, кровать*, с другой. Между этими полярными типами много промежуточных. Обычно также в книжных текстах процент заимствований выше, чем в бытовом разговоре.

Ситуация в японском языке иная. В главе 1 уже говорилось о четко разграниченных даже в современном языке классах ваго — исконных с точки зрения современного носителя слов и канго — слов, образованных из корней, заимствованных из китайского языка. В последние столетия к ним добавился третий класс так называемых гайрайго — заимствований из западных языков. Но если с XVI в. по середину XX в. гайрайго приходили из разных языков при преобладании английского уже со второй половины XIX в., то последние 60 лет — почти исключительно из американского варианта английского языка. Британский вариант этого языка, влиятельный в Японии столетие назад, теперь почти неизвестен, а японцами, знающими английский язык, иногда даже воспринимается как американский диалект (его могут путать с диалектами Новой Англии, более всего похожими на британский вариант). Интернационализмы на латинской или греческой основе и слова из третьих языков сейчас приходят в японский язык через посредство английского, что проявляется в их фонетическом облике. Поэтому сейчас можно, слегка огрубляя ситуацию, поставить знак равенства между заимствованием гайрайго и американизацией японского языка. По данным Государственного института японского языка, в начале 70-х гг. заимствования из английского языка составляли 94,1 % всех гайрайго [Stanlaw 2004: 12–13], но из оставшихся 5,9 % много старых заимствований XVI–XIX вв. и начала XX в.

В принципе есть слова, не относящиеся ни к ваго, ни к канго, ни к гайрайго: заимствования из айнского языка, устные заимствования последних столетий из китайского языка [Shibata 1993: 16; Matsuoka 1993: 132]. Но их число незначительно, а положение периферийно, и их обычно игнорируют.

Для гайрайго четким опознавателем служит, в первую очередь, графика: в смешанном японском письме, где сосуществуют иероглифы и две слоговые азбуки (подробнее см. главу 9), одна из азбук — катакана — сейчас почти исключительно используется для записи гайрайго. Есть, правда, отдельные гайрайго, которые могут записываться с помощью иероглифов. Как правило, это слова, заимствованные в эпоху Токугава или эпоху Мэйдзи: *koohii* ‘кофе’ пишут двумя иероглифами, подобранными по фонетике их чтений, а *tabako* ‘табак’ — иероглифами, подобранными по смыслу: *дым + трава*. В эпоху Мэйдзи заимствования иногда писали и хираганой, но эта практика прекратилась в 20-е гг. XX в. [Tsukamoto 1993: 37]. С тех пор использование катаканы в этой функции стало каноническим, о других функциях ка-

таканы см. главу 9. Сейчас, кстати, всё чаще термин *гайрайго* стал заменяться недавно появившимся термином *katakanago*, то есть *слова, пишущиеся катаканой*. Словари заимствований последних лет стали именоваться не *gairaigo-jiten*, а *katakanago-jiten* (*jiten* — 'словарь'). Возможно, это связано с тем, что термин *gairaigo* по внутренней форме связан с приходом слова извне, а слова данного класса часто созданы в Японии (см. ниже) (З. М. Шаляпина, устное сообщение). Для записи гайрайго или вкраплений английского языка применяют и латинское письмо.

Поэтому в современных условиях сплошной грамотности для любого японца принадлежность слова к гайрайго обычно не вызывает сомнений, а японских детей в начальной школе учат, что те или иные слова положено писать катаканой, и лишь в средней школе рассказывают об их происхождении [Hiro 1984: 64–65]. Кроме того, многие (хотя и не все) гайрайго имеют и фонетические особенности: ряд звуков и звуковых сочетаний возможен только в подсистеме гайрайго. Об этих особенностях см. нашу публикацию [Алпатов 2002].

Строгим разграничением исконных единиц и заимствований японский язык отличается от русского и многих других языков, но отчасти напоминает английский, где выделяются подсистемы германской (исконной) и романской по происхождению лексики. Однако границы классов в японском языке гораздо жестче. Один из японских лингвистов в связи с этим отмечал, что ни в одном жанре английского языка невозможен текст, состоящий только из англо-саксонской лексики без слов романского происхождения, но и сейчас стихи в традиционном стиле пишут, пользуясь одними только ваго [Nihongo 1983: 103]. Кроме того, японских подсистем три, а не две, и нет почти никакого остатка. Различны и стилистические характеристики подсистем.

Количество американизмов в современном японском языке достаточно велико, хотя и не столь огромно, как иногда может показаться. По данным Государственного института японского языка на начало 70-х гг., в текстах в среднем содержалось 3,9 % гайрайго, а среди всего словаря их было 9,8%, то есть их средняя частота не была столь уж велика [Stanlaw 2004: 12]. Однако среди обиходных слов их было, по одним подсчетам, 5–10 % [Stanlaw 2004: vii], по другим, даже 13 % [Ноппа 1995а: 58; Loveday 1996: 99]. После этого новых доступных статистических данных долго не было, хотя

исследователи предполагали увеличение доли гайрайго [Stanlaw 2004: 22]. Лишь с 2005 года начали публиковаться данные нового исследования того же института по массовому обследованию языка вышедших в 1994 г. японских журналов разных жанров. Среди всех 693.173 словоупотреблений оказалось 85.710 гайрайго, то есть около 12,4 %, а в перечне 45.385 разных слов, зафиксированных хотя бы раз в текстах, гайрайго было 15.779, то есть примерно 34,8 % — более трети [Gendai 2005—2006, 1: 32]. Конечно, журналы — не весь японский язык, но заметное увеличение числа гайрайго за четверть века очевидно. А самый полный из словарей гайрайго содержит 27 тысяч слов [Stanlaw 2004: 14].

Гайрайго сейчас активно изучают в Японии. Показательна публикация хрестоматии [Gaigaigo 1993], в которой собраны представительные статьи на данную тему разных авторов за несколько десятилетий, в основном за 70 е гг. — начало 90-х гг. Имеются подробные их исследования и в других странах, особо надо отметить книги [Loveday 1996; Stanlaw 2004].

6.1.2. Что обозначают гайрайго?

Если канго в своей массе относятся к книжной лексике, то с очень многими гайрайго любой японец постоянно сталкивается в быту, по телевидению, в газетах, в уличных объявлениях и пр., а как раз в чисто книжных текстах их может быть совсем немного. И в большинстве гайрайго имеют четко выраженную жанровую принадлежность.

Впрочем, в современном языке уже трудно найти ситуацию, где не было бы совсем гайрайго. Исключение — разве что подчеркнуто архаизированные тексты вроде речи персонажей в самурайских фильмах [Могап 1989: 155] или вышеупомянутой поэзии в жанрах танка и хайку, где и канго не бывает. Но даже словарь японского просторечия (*zokugo*) [Nihon zokugo 2003] содержит много гайрайго. Нам пришлось видеть меню ресторана в японском стиле, где, естественно, всё пишется иероглифами, но и здесь обнаружилось слово, написанное катаканой: *setto* 'набор (блюды)' из *set*. А в выступлении исполнителя комических рассказов в жанре *kyūgo* (исконно японский жанр, восходящий к временам Токугава) использовался английский счет: *wan, tsuu, furii (one, two, three)*. Отмечается, что среди гайрайго немало слов, используемых только в разговорной речи [Matsuoka 1993: 155—156]. Но этот же автор отмечает, что в целом гайрайго с трудом

входят в обычную лексику, общую для всех [Matsuoka 1993: 136]; с другой стороны, они очень легко образуются окказионально [Matsuoka 1993: 137]; см. об этом также [Stanlaw 2004: 159].

В то же время ряд сфер жизни почти целиком отдан американизмам. По подсчетам, приведенным в книге Л. Лавди, они составляют 53 % терминов менеджмента, 75 % терминов маркетинга, 80 % торговых терминов и даже 99 % компьютерной терминологии [Loveday 1996: 101-103]. Нередко трудно сказать, где здесь общий язык, а где профессиональный жаргон [Stanlaw 2004: 30]. Их очень много и в сферах спорта, туризма, эстрадной музыки, кулинарии, моды, потребления (в меньшей степени производства!) бытовой техники и пр., то есть во всех сферах массового потребления. Например, в названиях парфюмерных и косметических товаров они составляют 97 % [Tsukamoto 1993: 44]. Обычно чем больше та или иная сфера связывается с престижным потреблением, тем больше там гайрайго: пока вычислительная техника на первых этапах была делом специалистов, господствовали канго [Kurashima 1997, 1: 265], но ситуация резко изменилась в пользу гайрайго в период массовой компьютеризации. Огромное их количество содержится, например, в женских и молодежных журналах [Loveday 1996: 106–111, 200–202], то есть опять-таки в жанрах, ориентированных на престижное потребление. Скажем, в заголовках женских журналов примерно поровну употребляются катакана и латиница, и совсем нет иероглифов [Sasaki 2000, 2: 301–302]. О связи гайрайго, как и английского языка в Японии, со сферой потребления, специально пишет ряд исследователей [Stevens 2008: 140].

В текстах такого рода доминирует катакана, иногда с добавлением и даже преобладанием латиницы, и лишь изредка присутствуют иероглифы и хирагана. Такие тексты состоят из гайрайго с добавлением лишь грамматических элементов, минимума необходимых глаголов и японских собственных имен. Их можно встретить даже в ведущих газетах вроде «Асахи» [Ekuni 1993: 126], разумеется, не на всех страницах (см. ниже). Иногда и японские слова, без которых невозможно обойтись, пишутся катаканой (см. главу 9). В таком случае «имидж» требует по возможности всё писать катаканой. Есть даже термин, буквально означающий «катаканские профессии»: дизайнер интерьера, модельер высокой моды и пр. [Тапака 1990: 90].

Постоянна ассоциация гайрайго с современностью и престижностью, а слов иного происхождения – с отсталостью и бедностью.

В одной рекламе, где противопоставлялись автомобили вчерашнего и завтрашнего дня, *вчера* было обозначено обычным японским словом *kinoo*, а *завтра* – американизмом *tomoroo* (*tomorrow*) [Stanlaw 2004: 299]. В торговле, по выражению Сотояма Сигэхико, гайрайго там, где продают мечту [Sotoyama 1993: 50]. Как писал Сибата Такэси, для многих слово, пишущееся катаканой, обозначает хорошую вещь [Shibata 1993: 20]. Человек, не употребляющий гайрайго, может выглядеть старомодным [Stanlaw 2004: 268–269]. Это часто способствует тому, что гайрайго вытесняют ранее образовавшиеся синонимы. Такой процесс начался еще до войны: например, еще тогда канго *hooka-shutaku* заменилось на *apaato* (из *apartment*) в качестве обозначения многоквартирного дома европейского типа [Iwabuchi 1993: 8]. Затем гайрайго *roon* ‘заем’ из *loan* вытеснило старое канго *syakkin*, вызывавшее плохие ассоциации [Ноппа 1995: 53; Sotoyama 1993: 53]; по этой же причине *geppu* ‘кредит’ заменилось синонимом *kurejito* [Sotoyama 1993: 53]. На функционирование гайрайго влияет их большая понятность на слух, особенно по сравнению с канго, часто это помогает им вытеснять синонимы иного происхождения. В целом созданные до войны кальки – канго сейчас в значительной степени заменены гайрайго [Stanlaw 2004: 79]. Также и конкуренция синонимов для обозначения новых понятий в послевоенное время чаще кончалась победой гайрайго: в значении ‘стыковка (космических аппаратов)’ недолгая конкуренция вновь изобретенного канго *renketsu* и гайрайго *dokkingu* скоро кончилось победой последнего.

Впрочем, близкие по значению слова могут сохраняться, поскольку их семантические расхождения могут оставаться актуальными. Скажем, новорожденный ребенок – *akachan*, но в товарах для новорожденных он будет *beebii* (*baby*) [Iwabuchi 1993: 12]. Еще пример: обычные японские товары, предлагаемые потребителю в новой расфасовке, могут именоваться с помощью гайрайго [Stanlaw 2004: 203]. Но такие различия могут встретиться и в иных сферах жизни. *Грамматика* по-японски канго *butpoo*, но японец в интервью, вспоминая свои уроки английского языка в школе, назвал ее *guramaa* (*grammar*) [Endoo 1995: 13]. В японском языке более десятка слов со значением *жена*; однако один японец в разговоре с нами, рассказав, что он не был в СССР, а вот его жена туда ездила, назвал ее *waiфу* из *wife*. Казалось бы, зачем еще слово? Но если речь идет о действиях, не сочетающихся с традиционными правилами женского поведения (например, если жена путешествует без мужа), то уместно именно *waiфу*, а,

скажем, не *kanai*, что буквально значит *внутри дама*. Дж. Стенлоу пишет, что японские местоимения второго лица, уместные, скажем, в обращении жены к мужу, трудно употребить по отношению к бой-френду, и современные японки могут обращаться к нему *уиу* (*you*) [Stanlaw 2004: 105]. Он же приводит слова японской женщины: ни одно из японских прощаний не передает идею прощания навсегда, поэтому лучше в таком случае сказать *goodbye* [Stanlaw 2004: 105]. Отмечают удобство гайрайго для обозначения всего необычного [Stanlaw 2004: 238–239], создание с их помощью эффекта новизны, которая (в отличие от новых канго, понятных благодаря иероглифам) не всегда предполагает понятность [Takiura 2007в: 9].

Гайрайго тесно связаны со вкусами, привычками, ценностями, идеями из США. Один из часто обсуждаемых примеров — своеобразный именной префикс *mai* из *ту* ‘мой’ (может иметь и значение ‘мой’, и значение ‘личный, частный’): *mai-kaa* ‘личный автомобиль’, *mai-hoomu* ‘частный дом’, *mai-peesu* ‘свой ритм, темп’, *mai-taun* ‘мой город’ и даже *mai-meguro* ‘мое Мэгуро’ (название пансиона в токийском районе Мэгуро) [Shibata 1993: 20; Ekuni 1993: 128]. Не всегда, но часто префикс по значению указывает на нахождение соответствующего предмета в сфере личной собственности говорящего. Подчеркивание идеи *privacy*, которая, как уже упоминалось, с трудом выражается средствами японского языка! Дж. Стенлоу видит во внедрении этого префикса воспитание западного индивидуализма у японцев [Stanlaw 2004: 18].

Впрочем, семантическая грань между гайрайго и близкими по значениями ваго или канго может оказываться нечеткой. Японцы много веков употребляют в пищу рис (по-японски *meshi* или *gohan*), но сваренный по-европейски рис стал называться *raisu* из *rice*. Однако, по мнению Дж. Стенлоу, хотя слова *meshi* и *gohan* вполне употребительны, но рис, сваренный по-японски, может называться и *raisu*; другое традиционное различие — *gohan* обычно подают в чашках, а *raisu* на тарелках — сейчас тоже не всегда соблюдается, поэтому различия уже неясны [Stanlaw 2004: 14–15]. Выше приводился и другой похожий пример — *midori* и *guriin* в обозначении зеленого цвета.

И нельзя забывать, что гайрайго — всё же меньшинство японской лексики. В целом за пределами сфер потребления и высоких технологий американизмов не так много. Страницы газет, посвященные спорту или шоу-бизнесу, пестрят катаканой, а их же первые страницы, где речь идет об экономике, политике, происшествиях, катакану

или латинский алфавит (кроме европейских (арабских) цифр, сильно потеснивших китайские) почти не содержат. Даже в международной информации роль заимствований в основном сводится к собственным именам. По данным Такаси Кёко, в среднем в рекламе почти вдвое больше гайрайго, чем в газете, цитируется по [Stanlaw 2004: 178]. В научной терминологии традиции калькирования с помощью канго сохраняется до сих пор, хотя количество гайрайго в последнее время растет [Sotoyama 1993: 55]. В быту американизмы в основном — названия конкретных предметов сферы потребления, а в сфере абстрактной лексики и терминологии большинства наук и сейчас господствуют канго. Как отмечал известный японский социолингвист, новые, появившиеся после второй мировой войны стили языка характеризуются значительным количеством гайрайго, но давно сложившиеся стили их по-прежнему избегают [Kabashima 1983: 83]. И даже в «элитной» лексике есть классы слов, куда не допускаются гайрайго: скоростные экспрессы называют давно существующими ваго: *Hikari* 'луч', *Kodama* 'эхо' [Sotoyama 1993: 51].

Таким образом, можно сказать, что заимствования из английского языка пока что выделены в некоторое «гетто», пусть и престижное, в основном сводимое к двум сферам: высоким технологиям и престижному потреблению. В лексическом ядре языка гайрайго мало, и экспансия внутрь этого ядра имеет место, но пока что не очень велика. Здесь, как нам представляется, проявляется свойство японской культуры, которое российский японист А. Н. Мещеряков назвал «накоплением и сбереганием» [Мещеряков 1991: 110]. Новые, пришедшие извне элементы культуры не столько вытесняют старые, сколько добавляются к ним.

6.1.3. Гайрайго и английский язык

Чуть ли не каждое английское слово может быть заимствовано в японский язык, хотя бы в составе сочетаний. Скажем, *language* 'язык' обычно не употребляется как отдельное слово, но *лингвистическая лаборатория* — *rangeeji-rabo* [Stanlaw 2004: 79]; *овца* — *hitsuji*, но один из видов дикой овцы в надписи в зоопарке именуется *baabariishiipuu* (*barbarian sheep*). По выражению одного из авторов, мы имеем дело не столько с заимствованием в обычном смысле, сколько с абсорбцией японским языком английского словаря [Passin 1980: 55]. Японский язык вбирает в себя весь словарь английского языка так же, как когда-то вобрал весь словарь китайского языка [Passin 1980: 63]. Но это,

как мы увидим ниже, вовсе не означает, что японцы, даже хорошо знающие гайрайго, свободно владеют английским языком. И японцы очень часто не знают, как то или иное привычное для них гайрайго произносится или пишется в английском языке [Stanlaw 2004: 157–158]. Скажем, они могут удивиться, узнав, что известная им фамилия американца или англичанина *Sumiisu* по-английски будет *Smith* [Ishiwata 1993: 90–91].

И дело здесь не только в значительно меняющемся произношении. Гайрайго живут своей жизнью, очень часто независимо от языка — источника заимствований. В этом единодушны и японские, и иностранные авторы [Shibata 1993: 21; Ishiwata 1993: 92; Stanlaw 2004: 270–271]. Один из японских авторов заметил, что знание гайрайго и знание английского языка могут не только помогать, но и мешать друг другу [Ishiwata 1993: 90].

Существует много сложных слов и словосочетаний, которые созданы из английских корней (иногда и аффиксов) в самой Японии и не имеют английских параллелей. Примеры: *naitaa* 'игра (например, в бейсбол) при искусственном освещении' (ночь + словообразовательный суффикс *-er*), *wan-man-basu* или *wan-man* 'автобус без кондуктора' (один + человек + автобус), *noo-airon* 'изделие, которое нельзя гладить' (нет + утюг), *noo-mai-kaa-dee* 'день, когда рекомендуется воздерживаться от пользования личными автомобилями' (нет + мой + автомобиль + день). Иногда происходит переосмысление значений: *feminisuto* — не столько 'феминистка', сколько 'галантный мужчина' или даже 'предприниматель (обычно мужчина), специализирующийся на выпуске товаров для женщин'. Это не значит, что в Японии нет феминисток в привычном для нас смысле, см. главу 8. А *mooningu* из *morning* не закрепилось в значении 'утро' (есть обычное слово — *waго asa*), зато в языке первоначально появились сочетания *mooningu kooto* 'визитка' (вид сюртука) из *morning coat* и *mooningu saabisu* 'утреннее обслуживание в кафе по сниженным ценам' из *morning service*, потом оба сочетания сократились до одного *mooningu*, которое и имеет в современном языке эти два значения, отсутствующие у *morning*.

Очень часто значение английского слова в японском языке расширяется или сужается: *building* — любое здание, а *birujingu* — обязательно большое высокое здание, зато *mansion* — большой особняк, а *manshon* — любой величины многоквартирный дом [Soto 1985: 126]. Если даже словарное значение слова более или менее то же самое, что в английском языке, сфера употребления может оказаться со-

всем иной. Скажем, *kurisumasu* ‘Рождество’, как отмечает Л. Лавди, не столько религиозный, сколько коммерческий термин [Loveday 1996: 88–89]. В Японии христиане составляют менее одного процента населения (кстати, сейчас в отличие от XVII в. христианская лексика, кроме, разумеется, собственных имен, почти не содержит гайрайго). Зато любой японец в декабре сталкивается с рождественской торговлей, установкой елок и пр. (в отличие от России в Японии положено утром 26 декабря елки выбрасывать). Дж. Стенлоу указывает, что даже слова, вроде бы совпадающие с соответствующими английскими словами по значению, могут значительно различаться контекстами употребления [Stanlaw 2004: 20].

Еще усиливается несходство с английским языком из-за многих сокращений. Трудно в слове *zenesuto* узнать *general strike* ‘всеобщая забастовка’ (сократилось первоначальное *zeneraru sutoraiki*). А *sekondo hando* ‘подержанные товары’ (из *second hand*) превратилось в *sekohan* [Ishiwata 1993: 99]. *Пальто* (*overcoat*) теперь уже обычно не *oobaakooto*, а *oobaa*, хотя по-английски *over* значит ‘над’. Необычно и *masukomyunikeeshon* (*mass communication*): все говорят *masukomi*, хотя это слово не понятно в США [Ishiwata 1993: 90].

Могут изменяться и грамматические характеристики слов, в том числе принадлежность к части речи: по-английски *announce* — только глагол ‘объявлять’, а в японском языке *anaunsu* — существительное ‘объявление’ [Ishiwata 1993: 98]. Выше уже отмечалось использование *mai* из *my* ‘мой’ в качестве префикса. Также и *up* ‘вверх’ превратилось в суффикс *appu*: *beesu-appu* (*base*) ‘повышение зарплаты’, *reberu-appu* (*level*) ‘повышение уровня’, *imeeji-appu* (*image*) ‘повышение имиджа’ [Shibata 1993: 21]. Часто также гайрайго сращиваются с японскими корнями или суффиксами: наряду с *mai-kaa* ‘личный автомобиль’ есть и *mai-kaa-zoku* ‘люди, имеющие личные автомобили’ [Iwabuchi 1993: 14]; существуют слова *saabisu-ryoo* ‘плата за обслуживание’ (*service*), *amerika-zan* ‘(товар) американского производства’ [Stanlaw 2004: 76]. См. об этом также [Ekuni 1993: 128].

Даже при господстве гайрайго в той или иной сфере они далеко не идентичны соответствующим английским словам. Дж. Стенлоу анализирует в связи с этим компьютерную терминологию. В английском языке *computer* — прежде всего, персональный компьютер, однако, в Японии в этом значении чаще используют два других гайрайго: *pasokon* (сокращение от *personal computer*) и *waapuro* (сокращение от *word processor*), а *kompyuuta* может быть и целой компьютерной сетью

(*computer network*). Английскому *e-mail* 'электронная почта' соответствует три слова: в технических инструкциях используют гибриды из канго и гайрайго *denshi-meeru* (*denshi* — 'электрон, электронный'), в газете *e-meeru*, в разговоре чаще всего сокращение *meeru*, а наиболее соответствующее американскому стандарту *iimeeru* не зафиксировано [Stanlaw 2004: 21] (впрочем, в словарях оно встречается).

Составляют целые словари гайрайго, не имеющих английских эквивалентов. Такой словарь издан в виде приложения к одному из последних по времени словарей гайрайго [Gendaijin 2006: 890–893]. Небольшой их словарь также включен в статью Исивата Тосио [Ishiwata 1993: 93–96]. А Дж. Стенлоу затевает с англоязычным читателем игру, предлагая ему угадать из нескольких вариантов значение того или иного гайрайго [Stanlaw 2004: 37–42]. По его мнению, вообще большинство гайрайго создано в Японии для собственных нужд, и их совпадение по смыслу с соответствующей английской лексикой нередко случайно [Stanlaw 2004: 2, 35]. Такая точка зрения не совсем верна в целом, но доля истины в ней есть.

Можно заметить, что использование английских по происхождению элементов очень похоже на использование элементов, пришедших когда-то из китайского языка, что и отмечалось исследователями [Loveday 1996: 212–214]. В структурном плане есть некоторые отличия, связанные, прежде всего, с тем, что английский язык никогда для японцев не был чисто письменным языком. Из китайского языка приходили иероглифы, а вместе с ними их чтения, то есть в основном корни, а из английского языка обычно приходят слова или словосочетания (бывает, даже включающие определенный артикль *the*, выглядящий по-японски как *za*), которые тасуются аналогично китайским корням так, как это бывает нужно в самом японском языке. Слова могут сращиваться, словосочетания — становиться словами, аффиксы — свободно употребляться для создания новых слов, а целые слова — становиться аффиксами. Еще отличие в том, что произношение канго установилось много веков назад, а затем если менялось, то в соответствии с развитием японского языка, без оглядки на Китай. Но гайрайго в основном ориентированы не на письмо, а на американское (не британское) произношение, отчасти изменившее японскую фонетику (об этом пойдет речь в главе 9 в связи с орфографией катаканы). Однако иногда влияет и английская орфография. *Новости* — *nyuusuu* (*news*), а не *nyuuzu* из-за написания [Stanlaw 2004: 91–92]. См. также приводившийся пример: *e-meeru*, а не *iimeeru*.

Но при структурных различиях функционально роль английского языка в современной Японии сходна с ролью китайского языка в прошлом, а канго и гайрайго при разных структурных и стилистических характеристиках сходны по словообразовательным возможностям, в разное время оторвавшись от языка-источника. Дж. Стенлоу приводит мнение японца: «Неважно, что американцы не знают некоторых гайрайго. Важно, что мы их знаем» [Stanlaw 1992: 75]. Так же и в Китае не знают очень многих японских канго, хотя об их смысле часто можно догадаться по значению иероглифов (отвлекаемся от того, что иероглифы в Японии и Китае в XX в. стали часто отличаться друг от друга).

Три слоя лексики живут своей жизнью и могут по-разному оцениваться. Никогда не менялась лишь оценка ваго как полностью японских слов. Канго долгое время воспринимались как нечто чужое. Так было во времена *kokugaku*, когда надо было противопоставить национальную культуру китайской. Потом эта проблема перестала быть актуальной, но традиция противопоставления ваго и канго сохранялась довольно долго, отразившись, например, у Танидзаки Дзюньитиро в 30-е гг. XX в., который считал, что канго не могут отразить «японский дух» и призывал не увлекаться канго, а расширять смысл исконной лексики; см. об этом [Dale 1986: 80–82]. Для современной Японии, однако, такие идеи не характерны: если что-то противопоставляется по признаку «свой — чужой», то скорее канго и ваго вместе отграничиваются от гайрайго. Например, Хага Ясуси в книге о японской картине мира специально подчеркивает, что он рассматривает и ваго, и канго (но отделяет от них гайрайго), поскольку картина мира отражается в обоих классах лексики [Haga 2004: 42]. И те слова, в которых японские националистические концепции видят ключевые понятия культуры, могут быть не только ваго, но, как мы уже отмечали, и канго.

Отношение к гайрайго в любом случае иное, но может варьироваться. Существует взгляд, согласно которому их слишком много и их число следует ограничить. В японской литературе и в средствах массовой информации встречаются жалобы на «засилье» гайрайго. Например, в хрестоматию [Gairaigo 1993], в которой старались представить разные точки зрения, включена написанная с позиции пуриста статья [Marutani 1993] (впервые опубликована в 1978 г.), ее автор недоволен экспансией гайрайго и видит корни зла в упадке традиций обучения иероглифам и в распространении ненужных американиз-

мов через телевидение. Несколько более умеренная позиция в статье 1989 г. [Ekoto 1993], где гайрайго делятся на приемлемые и неприемлемые: скажем, по мнению ее автора, можно допустить *kyuuto* 'миловидный' из *cute* как прилагательное, но делать это слово существительным и обозначать им человека недопустимо [Ekoto 1993: 127]. Время от времени об ограничении гайрайго говорят даже на самом высоком уровне. В 2002 г. об этом заявил премьер-министр Коидзуми Дзюньитиро, и по его инициативе Государственный институт японского языка даже составил список нежелательных гайрайго: *konsensasu* 'консенсус' предлагалось заменить словом *shinku-tanku*, *anarisuto* 'аналитик' — *bunsekika* [Gottlieb 2005: 12]. Н. Готтлиб сопоставила этот эпизод со сходным в Государственной Думе России (2003 г.), отметив, что российский президент в отличие от японского премьера не проявил заинтересованности в изменениях языковой нормы [Gottlieb 2005: 13].

Один из аргументов в пользу ограничения гайрайго — частая их непонятность. Хотя катакана сама по себе намного проще иероглифов, но ее смысловозначительная способность ограничена, и она не может снять омонимию, которую снимают иероглифы [Suzuki 1993: 71–72]. Наличие множества американизмов еще не значит, что их значение всем понятно (тем более что английский язык очень многие знают слабо). Как показывают исследования, очень часто для японцев, особенно для молодежи, не очень существенно значение того или иного слова. Вот пример, нами уже приводившийся [Алпатов 1988–2003: 118–119], но очень уж показательный. В одном исследовании опросили девушек — постоянных читательниц женских молодежных журналов. Они хорошо ощущали «имидж» предлагаемых гайрайго, но что конкретно значит большинство этих слов, не знали. Они путали *beeshikku* 'базовый, основной' с *shikku* 'шикарный', *guzzu* 'товары' с *zukku* 'парусиновая обувь', зная сочетание *karuchaa-senta* 'культурный центр', расшифровывали это сочетание как 'центр по интересам', понимая *karuchaa* 'культура' как 'интерес' [Tanaka 1984].

Опыт показал, что девушки просто не задумывались над значением слов, с которыми не раз сталкивались. Зато молодежь хорошо ощущает «имидж» американизмов, их «элитарность», принадлежность к сферам престижного потребления и связанной с США культуры. Дж. Стенлоу, отмечая подобную роль гайрайго, в частности, в рекламе, пишет, что их непонятность часто преувеличивается, поскольку ориентируются на буквальный смысл рекламных лозунгов,

который может не быть важным и в английском языке: как, например, понять рекламу «Шевроле»: *It's the heartbeat of America* 'Это биение сердца Америки' [Stanlaw 2004: 32–32]? Он же отмечает и частое употребление в эстрадных песнях ничего не значащих гайрайго и просто бессмысленных звуковых последовательностей, вызывающих ассоциации с английским языком [Stanlaw 2004: 118; Stevens 2008: 137].

Впрочем, ощущение «элитарности» всего, связанного с американской культурой, отчасти проходит. В интервью, взятом специалистом по английскому языку Эндо Хатиру у одного из преподавателей того же языка, тот говорит, что его поколение выросло, привыкнув к высоким оценкам всего, на чём стояла этикетка *Сделано в США*, но потом стало ясно, что это обычно дешёвые товары; поэтому пора перестать смотреть на Америку снизу вверх [Endoo 1995: 34]. Подобные идеи постоянно высказывает и Судзуки Такао. И Дж. Стенлоу указывает, что в Японии уже нет комплекса неполноценности, в том числе и языкового, по отношению к США [Stanlaw 2004: 272]. А представления об особой престижности гайрайго были порождены этим комплексом.

Однако дело не только в этом. Если бы речь шла только о престижности английского языка, то, вероятно, чаще бы употребляли английский в чистом виде [Stanlaw 2004: 168]. И японские, и западные исследователи сходятся на том, что гайрайго стали частью японской культуры и эстетики, вошли в повседневную жизнь людей, позволяют видеть мир по-новому [Shibata 1993: 16; Stanlaw 2004: 102, 169].

Жалобы на излишнее использование гайрайго естественны, но в целом их не так много. Для большинства японцев значительное количество гайрайго в ряде жанров языка не кажется несовместимым с национальной гордостью, о чём они заявляют прямо [Sotoyama 1993: 50, 60]. Тот же автор пишет, что для Японии выглядят странными усилия французов ограничить американизмы, но ситуация в двух странах, по его мнению, различна: во Францию вторгается английский язык, а в Японии гайрайго стали частью самого японского языка [Sotoyama 1993: 48]. Вероятно, не стоит отрицать вторжения английского языка и в Японию, но что касается места гайрайго в японском, то мнение ученого, бесспорно, справедливо.

Японцы, пусть не всегда (особенно в годы оккупации) по своей воле, но во многом действительно самостоятельно взяли то, что сочли нужным из западной, в первую очередь, американской культуры,

поступив с ней также, как раньше поступили с китайской; не стал здесь исключением и языковой компонент культуры. Это отмечают и западные, и японские исследователи [Stanlaw 2004: 36, 187; Soto 1985: 63]. Судзуки Такао пишет об избирательности процесса заимствования в японской культуре. При склонности к заимствованиям японцы берут из чужих культур лишь те элементы, которые считают для себя нужными, в том числе и в языке; так было и в период китаизации культуры, так продолжается и в эпоху американизации [Suzuki 1987a: 143].

Как пишет западный японовед, «гений» японцев заключается не в изобретении, а в адаптации тех или иных элементов культуры сначала Кореи, потом Китая, наконец, Европы и США. В результате заимствованные элементы укоренились и живут самостоятельной жизнью, часто меняясь до неузнаваемости [Tobin 1992: 3–4]. Все эти оценки представляются верными. В последние полтора столетия эта страна постоянно шла по пути догоняющего развития, осваивая те элементы западной (последние 60 лет почти исключительно американской) культуры, которые считала для себя необходимыми. Это относится не только к высоким технологиям или парламентским процедурам, но и к английскому языку.

Но надо учесть и другую сторону вопроса о гайрайго, их место в системе языка всё же напоминает «престижное гетто». Поэтому можно согласиться и с выводом Л. Лавди: проницаемость японского языка для американизмов очень велика, но их внедрение в язык отражает скорее освоение обществом отдельных элементов западной культуры, чем глубинную вестернизацию [Loveday 1996: 96].

Современная языковая политика в данной области, закрепленная в официальных рекомендациях, основывается на свободном допуске гайрайго в любые специальные сферы, но с их, по возможности, ограничением в обычной речи [Gottlieb 2005: 64]. Однако жизнь не всегда следует рекомендациям. Среди неологизмов самых последних лет, постоянно фиксируемых в Японии, гайрайго, безусловно, преобладают [Kamei 2007: 106–109]. Повышению роли гайрайго способствует и их особая многочисленность в пределах молодежной субкультуры, и так обстоит дело уже несколько десятилетий. Но до последнего времени многие гайрайго, связанные с «имиджем», употреблялись молодежью, а затем передавались как бы по наследству новому поколению. Впрочем, по мнению ряда наблюдателей, в том числе российских, в самое последнее время ситуация стала

меняться в сторону повышения роли гайрайго [Гуревич 2005: 44–53]. Сможет ли развитие системы гайрайго способствовать полной вестернизации японской культуры, покажет время. В любом случае, необходимо признать, что гайрайго в современной Японии – уже не элемент чужой культуры, они стали вполне своими.

6.2. Английский язык в Японии

Каждый японец постоянно сталкивается с большим количеством гайрайго. Английский язык в Японии пользуется престижем, его оценки, по крайней мере, для явного большинства японцев, высоки [Yamamoto 1996: 50; Suzuki 2006: 185]. Отсюда можно было бы сделать вывод, что этот язык там хорошо известен. Однако это не так, как бы это ни показалось странным. О трудностях в освоении японского языка в Японии пишут очень многие. Особенно много информации такого рода содержится в книге [Endoo 1995], представляющей собой собрание интервью с японскими преподавателями английского языка и иностранцами, живущими в Японии.

И в японских, и в иностранных публикациях постоянно пишут, что в Японии плохо знают английский язык [Endoo 1995: 8, 97, 100; Suzuki 2006: 186; Stanlaw 2004: iii, 286, 289; Gottlieb 2005: 36–37]. Стандартны жалобы на то, что японцы не могут полноценно общаться с иностранцами, не могут рассказать о своей стране за рубежом и пр. [Endoo 1995: 65, 142; Narumi, Takeuchi, Komatsu 2007: 16; Suzuki 2006: 43]. И тому есть и объективные подтверждения. Вот пример, относящийся, правда, к началу 90-х годов. Во время одного из международных исследований сравнивался уровень владения английским языком в 152 странах, и Япония оказалась на четвертом месте от конца, ниже Ирана, Индонезии и Эфиопии [Ноппа 1995а: 58; Loveday 1996: 99]. По данным Н. Готтлиб, сходные результаты были получены и в 1998 г., когда Япония оказалась на 180 месте среди членов ООН и на последнем месте в Азии, и в 2001–2002 гг. [Gottlieb 2005: 32, 70].

Эти данные могут показаться односторонними. Но вот данные, приводимые Л. Лавди. Он опросил 461 информанта разного возраста и разных социальных слоев. Все они учили в школе английский язык, но из них 54 % заявили, что с того времени забыли его полностью, лишь 9 % используют его на работе (в основном в виде чтения), 5 % говорят со знакомыми, 0,4 % пользуются дома [Loveday 1996: 175–176].

Автор книги в разные годы не раз сам убеждался в малой распространенности свободного владения английским языком в Японии. На советской космической выставке в 1973–1974 гг. посетители постоянно пытались что-то написать в книге отзывов на иностранном языке, при незнании русского обычно писали на английском. Однако почти всегда надписи сводились к элементарным фразам вроде: *It is a pen* 'Это – ручка'. Уже в 80-е гг. пришлось видеть выступление перед иностранцами известного исполнителя японских комедий *кэгэн*; он попытался объяснять свое искусство по-английски, но успешно сумел лишь представиться, затем стал путаться в словах, и пришлось пригласить переводчика.

А учили английский язык в той или иной степени практически все, сейчас около 95 % японцев кончают повышенную среднюю школу (*kootoo-gakkoo*), что соответствует нашему одиннадцатилетнему обучению [Stanlaw 2004: 286]. В Японии учатся в школе двенадцать лет: шесть в начальной школе, три в средней, три в повышенной средней. Велик процент оканчивающих вузы (более трети населения). И с первого класса средней школы в число обязательных предметов входит английский язык, то есть учить его начинают с 12 лет. Маленькие дети его, однако, совсем не знают, и учить его помимо школы в раннем возрасте в Японии не принято. Это может рассматриваться как одна из причин низкого знания английского языка [Endoo 1995: 31].

Школьное изучение иностранных языков почти отсутствовало в Японии до второй мировой войны, и было введено в 1947 г., то есть во время американской оккупации; считали, что английский язык станет для Японии «окном в мир». Тогда же обучение другим языкам в вузах в основном заменили изучением английского языка, а преподавателей других языков переучивали [Gottlieb 2005: 31]. Это в основном сохраняется и сейчас: лишь в 551 школе во всей Японии преподавали другие языки, а в вузах, где нет официальной обязательности преподавания именно английского языка, из тысячи студентов лишь около десятка изучают иные языки [Gottlieb 2005: 33]. Считается, что английский язык учат во всех средних школах, в 70 % повышенных средних школ и во всех вузах [Stanlaw 2004: 17]. Важный компонент японской образовательной системы – сложный вступительный экзамен по английскому языку при поступлении в вуз, на который уходят много сил и часто средств: требуются репетиторы. Нередко японцы потом вспоминают этот экзамен как момент жизни, когда им в

наибольшей степени или даже единственный раз понадобился английский язык.

И, тем не менее, как пишут японские авторы, за десять лет обучения языку японцы не выучиваются ему [Endoo 1995: 100]. Разумеется, у всех остаются в памяти какие-то слова и простые фразы вроде *I love you* или *It is a pen*, это может помогать в усвоении гайрайго, но если задать японцу простой вопрос вроде *Am I in Tokyo?* 'Я нахожусь в Токио?', то велика вероятность того, что он не поймет и не сможет ответить [Stanlaw 2004: 286].

Причин, как всегда в подобных случаях, может быть несколько. Уже говорилось о позднем (12 лет) начале обучения языкам. Другой причиной считают консервативную и архаичную систему преподавания, основанную на изучении грамматики и чтении художественной литературы, жалобы на нее постоянны [Endoo 1995: 9–10, 32–33, 37, 97–98, 136, 193; Narumi, Takeuchi, Komatsu 2007: 12–13; Stanlaw 2004: 286–287]. Столь же архаичны и вступительные экзамены в вузы по английскому языку, названные Дж. Стенлоу «викторианскими» [Stanlaw 2004: 286], часто призывают их изменить или отменить вообще [Endoo 1995: 35; Gottlieb 2005: 54]. Как пишет один из авторов, студентов учат Шекспиру, вместо того чтобы учить языку своей специальности [Endoo 1995: 193]. Особенно отстают обучение языковой коммуникации [Endoo 1995: 28, 74; Kosuge 2007: 36]. Пишут, что если в последние десятилетия в Японии и стали знать английский язык лучше, то не благодаря преподаванию [Endoo 1995: 46, 68]. Живущая в Японии американка даже заявила, что Япония – самое трудное в мире место для изучения английского языка [Endoo 1995: 119]. Жалуются и на малое число часов, особенно в повышенной средней школе (10–12 классы).

Но главная причина – всё же отсутствие мотивации. Как пишет Л. Лавди, в школе английский язык – один из самых непопулярных предметов, и, как отмечали те же его информанты, существенная мотивация для знания английского языка возникает у многих один раз в жизни: при подготовке к поступлению в вуз. Без сдачи сложного, пусть архаичного экзамена ни в один престижный вуз нельзя поступить. А потом языком пользуются обычно лишь те, кто связаны с английским языком профессионально (например, работают во внешне-торговой фирме или занимаются обслуживанием иностранцев), да еще, пожалуй, специалисты, которые должны читать англоязычную литературу, но далеко не всегда свободно говорят по-английски. Улуч-

шению знания иностранных языков не помогает даже значительное расширение путешествий японцев за рубеж, поскольку чаще всего они ездят группами с переводчиком, общаясь во время поездок лишь между собой [Loveday 1996: 96–99]. Вывод: пока английский язык не нужен после школы, его не будут учить и в школе [Loveday 1996: 99]. Сходные выводы и у японских авторов [Ноппа 1995а: 57; Епдоо 1995: 30–31; Oda 2007: 24], в том числе жалуются и на то, как забывают английский язык после поступления в вуз [Епдоо 1995: 80]. Даже сейчас, когда интерес к этому языку стал подниматься, студенты естественных специальностей не очень стараются им овладеть [Eigo 2007: 55]. И отмечают, что как раз в начальной школе, где иностранные языки почти не учат, легче всего возбудить к ним интерес, но потом мотивации теряются [Eigo 2007: 55]. Невольно вспоминаются жалобы, которые автор данной книги слышал в 90-е гг. в Элисте после введения в ряде городских школ обязательного изучения калмыцкого языка. Дети, в том числе и русские, с интересом учат этот язык и разучивают калмыцкие песенки в младших классах, но когда с возрастом начинают задумываться о том, зачем он нужен в жизни, то воодушевление проходит.

Данная ситуация, однако, вызывает у российского читателя, прежде всего, иные ассоциации. Всё с английским языком примерно так, как у нас в советское время! У нас, правда, в школе не всегда учили английский язык, а в Японии он везде обязателен, но эффект был примерно таким же (впрочем, процент читавших на иностранных языках литературу по специальности, скорее всего, в СССР был выше 9 %, отмеченных у Л. Лавди). В обеих странах миллионы людей учили в школе английский язык, почти у всех в памяти сохранялись отдельные слова и фразы, что облегчало процесс заимствования, английский язык обладал престижностью, но лиц, свободно им владевших, было немного. И методика преподавания чаще всего была сходной: тоже грамматика и классическая литература. И тоже отсутствие должных мотиваций. В СССР также потребность читать иностранную специальную литературу возникала чаще, чем необходимость общения с иностранцами; в обеих странах за рубеж чаще выезжали группами с переводчиком.

Однако динамика здесь иная. У нас в последние 15 лет мотивации для изучения английского языка резко увеличились, что привело к росту активного владения этим языком. При этом вряд ли можно считать, что современная Россия более интегрирована в мировую эконо-

мику, чем Япония. Но интеграция Японии, на первых порах (40-е гг. — начало 60-х гг.), безусловно, способствовавшая лучшему, чем до того, знанию английского языка, затем долго не приводила к дальнейшим шагам вперед. Японские авторы отмечают, что в начале 60-х гг. имел место бум в изучении английского языка [Endoo 1995: 16], но потом интерес уменьшился, снова увеличившись лишь в 90-е годы. У нас американская массовая культура приобрела престижность еще во времена экономического и политического противостояния СССР и США, и в СССР к концу его существования отсутствие мотивации для изучения английского языка, особенно в разговорном его варианте, имело в основном внешние причины. И когда внешних преград не стало, изучение английского языка стало массовым. Но в Японии при отсутствии значительных внешних препятствий существенными были и остаются внутренние преграды. Культурные барьеры между Японией и США остаются более серьезными, чем экономические и, тем более, политические.

Впрочем, хотя в Японии английский язык знают хуже, чем во многих странах, нельзя и считать японскую ситуацию из ряда вон выходящей. В современном мире как-то владеют английским языком многие, но по-настоящему свободно им могут пользоваться как раз немногие, причем в крупных странах даже меньше, чем в малых. В книге Дж. Стенлоу приводятся такие данные социологического опроса. Лишь 3 % граждан Франции, Испании, Италии могут свободно понимать оригинальные англоязычные телепередачи, и лишь в Скандинавии и Бенилюксе их число превышает 10 % [Stanlaw 2004: 297]. Отмечают, что скорая всеобщая глобализация с всеобщим знанием английского языка и господство английского языка в Интернете относятся к числу мифов [Aitchison, Lewis 2003: 24—26]. Кстати, японский язык занимает в Интернете третье место после английского и китайского.

Как, однако, объяснить совмещение большой престижности японского языка в Японии и его слабого знания? Уже упоминавшаяся американка в интервью отметила, что в Японии нет привычки к обычному сейчас на Западе мультикультуризму [Endoo 1995: 121]. Нет нужды снова говорить об островном положении Японии, давней обособленности ее культуры и отсутствии привычки к знанию других языков. К этому добавим любопытные высказывания всё того же Судзуки Такао. Он писал, что Япония — одна из самых открытых в мире стран для восприятия чужих вещей и идей, но достаточно за-

крытая для человеческого общения с иностранцами. По его выражению, японцы — не ксенофобы, но ксенофиги, то есть люди, избегающие иностранцев [Suzuki 1987a: 141].

Л. Лавди указывает, что плохое знание английского языка в массе японцев и обильное количество заимствований не противоречат друг другу. Образцом здесь послужило освоение Японией в прошлом китайской культуры при отсутствии значительного японско-китайского двуязычия [Loveday 1996: 212–214]. И сейчас житель японской провинции может ни разу не увидеть белого человека, но многие американизмы он хорошо знает, а английский язык доходит до него через школу и телевизор.

И невысокий в массе уровень знания английского языка не исключает ни использования этого языка даже в среде, им свободно не владеющей, ни «островов» этого языка в Японии. Выше шла речь о рекламе или поп-музыке, язык которых, полный гайрайго, плохо понятен. Предельный случай такой рекламы или музыкального текста — переход на английский язык (обычно далекий от совершенства), что нам неоднократно приходилось видеть и слышать в Японии. Достаточно «имиджа» текста и отдельных понятных слов, а дальше домысливается всё остальное. При этом рекламироваться могут не только американские, а и свои собственные товары: комплекс неполноценности перед США легко сочетается с национальной гордостью. Даже в середине 80-х гг., когда не только в Японии, но и в США всерьез обсуждались перспективы возможной победы японского капитала в японо-американском экономическом соревновании, японская реклама избегала утверждений о том, что тот или иной товар национального производства лучше американского. Более действенными оказываются лозунги о том, что он такой же или почти такой же, как американский, хотя, как мы упоминали, в 90-е гг. уже раздавались и иные голоса. Например, целые куски в рекламе потребительских товаров могут быть написаны по-английски, особенно это свойственно тем фрагментам, где речь идет о «научно обоснованной» полезности продукта: содержании в нем витаминов, диетических свойствах и пр.; главное здесь — подчеркивание отличия данного продукта от других [Stanlaw 2004: 197].

Нередко, особенно в устной речи и в текстах, написанных на латинице, возникает смешение языков. На каком из языков написана, например, вывеска в Токио: *Mitsui Grandioso Club*? Или этикетка на банке саке: *Sake. One cup. Ozeki* (*ozeki* — один из рангов борцов сумо)?

Многие исследователи в разное время писали о смешанных японо-английских языках, которые называли *Japlish*, *Janglish*, *Japanised English* и др. [Stanlaw 2004: 265–266; Stevens 2008: 134], они распространены в эстрадной музыке, надписях на майках и пр. Отмечают, что в текстах эстрадных песен (например, в стиле рэп) появляется даже такое принципиально не свойственное японскому языку явление как рифма (на него даже Пушкина переводят верлибром): рэперы регулярно стараются рифмовать, хотя жалуются на трудности [Stevens 2008: 135].

Потребители такого рода текстов чаще всего, как большинство японцев, имеют какое-то представление об английском языке, но свободно им не владеют. По мнению исследовательницы японской поп-музыки, создается псевдо-английский язык, устанавливающий контакт со слушателями, которые настоящий английский язык знают плохо [Stevens 2008: 138]. В то же время имеются и «островки», где культивируется реальный английский язык. Есть частные университеты, например, Международный христианский университет, где курсы, в том числе и для японских студентов, читаются на этом языке [Gottlieb 2005: 35]. А вот заметка в японской англоязычной газете *Daily Yomiuri* за 24 ноября 2007 г., где сказано, что Японская раковая ассоциация, объединяющая 16 тысяч врачей и исследователей-онкологов, постановила проводить свои пресс-конференции и презентации достижений целиком на английском языке. Главным доводом в пользу этого выдвигалась возможность приглашать на эти мероприятия специалистов не только из Японии, но и из стран Азии и Океании. И, безусловно, обращает на себя внимание распространенность в Японии собственных газет на английском языке, рассчитанных, в первую очередь, на японских читателей. Кроме вышеупомянутой газеты, имеются еще две крупные газеты: *Japan Times* и *Asahi Daily News*. Указывают и на то, что большинство японских веб-сайтов ведется на двух языках [Gottlieb 2005: 136].

Впрочем, такие явления не надо преувеличивать. Даже в двуязычных веб-сайтах информация на японском языке обычно намного богаче [Gottlieb 2005: 136]. А первая же пресс-конференция общества онкологов, как отмечает та же газета, кончилась тем, что один из участников не смог ответить на вопросы на английском языке и перешел на японский.

Итак, ситуация парадоксальна. С одной стороны, пишут, что английский язык в Японии присутствует везде, подобно воздуху [Stanlaw

2004: 1, 186–187], что общественная атмосфера требует знания японского языка [Yamamoto 1996: 51]. Но, с другой стороны указывают, что в Японии очень невелико двуязычие [Stanlaw 2004: 4], существующее лишь на индивидуальном или семейном уровне [Yamamoto 1996: 70–71]. Постороннему наблюдателю, по крайней мере, в крупных японских городах, роль английского языка может показаться очень значительной: много объявлений, вывесок, указателей на английском языке, причём за последние два десятилетия их число заметно выросло. Впрочем, оно может варьироваться: в синтоистских храмах Никко указателей на английском языке почти нет, а на железнодорожной схеме района Киото-Осака на двух языках указаны названия станций основных линий, но станции местных линий, куда редко заезжают иностранцы, обозначены только по-японски. Согласно стандартным японским представлениям, для своих — японский язык, для чужих — английский, но и им надо пользоваться только в необходимых случаях. Для значительного числа японцев вопрос об общении с иностранцами по-прежнему не слишком актуален, а для себя необходим один японский язык.

Насколько эта картина меняется? В целом она остается прежней, хотя в последние десятилетия, особенно в период правления премьер-министра Д. Коидзуми (2001–2006) были предприняты меры для распространения в Японии английского языка и американской культуры. Государственные органы, на которых сильное впечатление произвели упомянутые выше данные международных экспертов, принимают меры для преодоления низкого уровня владения английским языком в Японии. Правительственная комиссия в 2000 г. поставила задачу сделать его всеобщим *lingua franca* [Gottlieb 2005: 70–71]. В 2003 г. Министерство образования приняло новый план, целью которого является научить всех выпускников средних и повышенных средних школ общаться на английском языке, а выпускников вузов использовать его в своей профессии [Gottlieb 2005: 73]. При премьер-министре К. Обути (1998–2000) даже обсуждался вопрос о придании английскому языку статуса второго государственного, что, правда, не прошло [Naga 2004: 32; Suzuki 2006: 63]. Не введено пока и преподавание английского языка в начальной школе, хотя этот вопрос обсуждается [Narumi, Takeuchi, Komatsu 2007: 15; Eigo 2007: 42]. Проходит экспериментальную проверку проект расширения его преподавания в средней школе с нынешних трех, двух и двух часов в

неделю в 1–3 классах до соответственно шести, трех и трех часов [Kosuge 2007]. В Токийском и других университетах постепенно вводится новая методика активного изучения английского языка, правда, ее считают пригодной лишь для крупных университетов [Endoo 1995: 40]. Любое преподавание этого языка стремятся связать с обучением языковому общению [Gottlieb 2005: 34–35]. И, что самое важное, все перечисленные меры имеют общественную поддержку [Stanlaw 2004: 295]. Правда, упоминают и о том, что в период экономических трудностей 90-х гг. у японцев стали появляться настроения в пользу английского языка за счет японского, аналогичные настроениям послевоенных лет [Endoo 1995: 47].

Ведутся и дискуссии о том, что означает знание английского языка для японца. С одной стороны, пишут о давлении США, в том числе связанном и с внедрением английского языка [Yamamoto 1996: 51; Stanlaw 2004: 292–293]. Но не раз в Японии высказывалась идея о том, что английский язык надо рассматривать не как язык США, а как язык международного общения, вовсе не обязательно связанный с американцами и американской культурой. Уже упоминалось решение общества онкологов использовать английский язык, мотивированное желанием общаться с коллегам не из США (что, видимо, неактуально), а из Азии и Океании. Пишут даже, что в Японии излишне следуют американскому варианту этого языка, что не всегда помогает в общении с другими народами, в частности в Азии; призывают учитывать опыт разных государств, начиная от Индии и кончая Эстонией, где американский вариант языка не приоритетен [Ноппа 1995b]. Указывают и на необходимость английского языка в деловом общении с арабскими странами [Eigo 2007: 51, 54]. Особенно много пишет об интернациональной роли английского языка Судзуки Такао. По его мнению, английский язык в наше время можно сравнить с травой без корней: после второй мировой войны он перестал быть национальным языком и превратился в ничей и всеобщий язык [Suzuki 2006: 141–142, 237–239].

Безусловно, в Японии английский язык уже знают лучше, чем 10–20 лет назад. И всё-таки пока незнание английского языка не связано со значительными жизненными трудностями, и специалисты предсказывают, что в обозримом будущем вряд ли его будут знать лучше, чем сейчас [Yamamoto 1995: 80].

6.3. Япония и другие языки

Знание других западных языков в Японии много меньше, чем английского. Например, в учебных планах японских школ все прочие языки рассматриваются лишь как дополнение к английскому языку [Gottlieb 2005: 34]. А упомянутые выше рецепты на немецком языке свидетельствуют о том, что этот язык здесь известен не больше, чем в России латынь. Тем не менее, какую-то известность эти языки имеют, прежде всего, немецкий и французский. Отмечают, что иногда эти языки бывают в моде, а заимствования из них иногда появляются и в наши дни: так, по мнению Исивата Тосио, из немецкого языка пришло слово *puruobaa* ‘пуловер’, а вслед за ним и обозначения разных видов пуловеров [Ishiwata 1993: 103]. Определенной популярностью пользуется и французский язык, слова этого языка могут использоваться как названия кафе или пансионатов [Stanlaw 2004: 295]. Эти названия обычно свидетельствуют о плохом знании языка: не первый год в районе Итигая в Токио существует кафе под названием *Cafe de Etoile* ‘Кафе звезды’ (на реальном французском языке было бы *Café d'étoile*). И всё же даже во французском салоне красоты английский язык будет преобладать над французским [Stanlaw 2004: 296]. В целом же, по данным Государственного института японского языка на начало 70-х гг., лексика немецкого происхождения составляет 3,7 % гайрайго, лексика французского происхождения — 0,9 % [Stanlaw 2004: 12–13]. И большинство, вероятно, составляют слова, появившиеся в эпоху Мэйдзи, когда влияние этих языков в Японии было наибольшим [Gottlieb 2005: 36], или вскоре после нее.

Особо следует остановиться на вопросе о русском языке. Этот вопрос хорошо иллюстрирует известный тезис о том, что международное влияние языка зависит от мировой роли соответствующего государства. Русский язык по известности в Японии никогда не соперничал с английским. По данным упомянутого в прошлом абзаце исследования, заимствования из русского языка составляли 0,15 % всех гайрайго (их число примерно равно числу заимствований из испанского и португальского языков вместе взятых). Судзуки Такао в одной из статей вспоминал, что помнит со времен войны слово *tochika* ‘огневая точка’, а со времен возвращения в Японию из СССР военнопленных слово *damoi* ‘домой’ [Suzuki 1993: 70]. Судзуки считает эти слова ушедшими из языка, хотя слово *tochika*, по крайней мере, в 70-е гг. употреблялось в дублированных западных фильмах о войне, а

в словари включается до сих пор [Gen daijin 2006: 362]. А сам Судзуки, говоря о трех наиболее значимых в мире западных языках — английском, немецком и французском, — называет их взятым из русского языка словом *toroika* 'тройка' [Sizuki 2006: 213]. В новом словаре гайрайго в качестве русизмов фигурируют, например, *demokurachizaashia* 'демократизация' [Gen daijin 2006: 354], *noovieruashikie* 'новые русские' [Gen daijin 2006: 400], *tokarefu* 'пистолет Токарева' [Gen daijin 2006: 364].

Однако интерес к русскому языку был несомненен и в эпоху Мэйдзи, когда в Японию стала проникать русская литература, и в советское время. В 50—70-е гг. среди студентов, изучавших естественные науки, существовала мода учить русский язык. Но интересовались им и гуманитарии. Видный японский русист Киндайти Наодзуми, представитель семьи, давшей нескольких крупных лингвистов, в недавней публикации вспоминал, что на выбор его профессии повлияли космические успехи СССР, а также массовый интерес в этой стране к поэзии. На него произвели впечатление громадные аудитории на советских поэтических вечерах, тогда как в Японии стихи могут слушать только маргиналы [Eigo 2007: 50]. В 70-х гг. интерес к русскому языку стал падать, а после короткого его повышения во второй половине 80-х гг. он затем упал почти до нуля, как интерес к русской культуре вообще (например, русская классика в 90-е гг. почти перестала переводиться и издаваться [Герасимова 2004]). Правда, традиции японской русистики пока сохраняются, в том числе в лингвистической области. Сейчас, кстати, уменьшилось и прямое воздействие японской культуры на нашу страну, всё более сменяясь освоением приходящей с Запада, а не с Востока глобализации, в культуру которой входят и японские по происхождению элементы. Это отражается и в языковой области: японизмы в русском языке приходят через английский язык, что видно из их фонетического облика (*суши*, *сашими*, а не *суси*, *сасими*, как было бы в случае заимствования непосредственно из японского языка, см. главу 9).

Впрочем, уже в 2000-х гг. появляются свидетельства некоторого изменения ситуации в лучшую сторону. Это отмечают и живущие в Японии российские специалисты, и японские русисты. Киндайти Наодзуми с удовлетворением говорит, что студенты-естественники снова начали интересоваться русским языком, а после долгого упадка интереса к русской классике недавно появился новый перевод «Братьев Карамазовых», хорошо разошедшийся [Eigo 2007: 53—54]

(впрочем, этот перевод много критикуют за чрезмерную вольность с оригиналом). Специалисты считают причиной этого некоторое оживление экономических связей Японии с Россией. Однако ряд утверждений о России в японских публикациях показывает невысокий уровень знаний: Хонна Нобуюки заявлял, будто из России в массовом порядке едут изучать английский язык на Филиппины, славящиеся хорошим знанием этого языка [Honna 1995b: 230]. Откуда были эти сведения?

Но для современной Японии иностранные языки уже не сводятся к западным. По количеству изучающих второе место после английского прочно занял китайский язык [Gottlieb 2005: 33, 36]. В социологических обследованиях в ответ на вопрос о том, какие иностранные языки наиболее важны для Японии, люди старше 40 лет упоминают только английский, но молодежь также называет китайский, корейский и другие азиатские языки [Gottlieb 2005: 33]. Если еще несколько лет назад уличные и дорожные надписи дублировались только на английском языке, то теперь всё чаще языков становится четыре: японский, английский, китайский и корейский.

Но китайский и корейский для Японии — не только иностранные языки, но и языки национальных меньшинств. Корейцы, предки которых жили в Японии со времени, когда Корея была превращена в японскую колонию (1810–1945), сейчас — крупнейшее меньшинство в Японии; немало здесь живет и китайцев. Те и другие почти стопроцентно владеют японским языком, а среди корейцев много одноязычных его носителей, но оба языка продолжают существовать и функционировать, см. об этом [Maher, Kawanishi 1995; Maher 1995b].

Как мы помним, стереотипы японской культуры не предполагают существования национальных и языковых меньшинств. Такой подход до XX в. в основном соответствовал реальности, но сейчас в Японии постоянно живут уже более миллиона людей, не относящихся к японскому этносу и не всегда пользующихся японским языком. Даже не самая большая русская диаспора уже превысила 10.000 человек, а корейцев, по данным Министерства юстиции на 2002 год, 625 тысяч, китайцев, по тем же данным, 424 тысячи [Gottlieb 2005: 26, 29]. Тем не менее, традиционные стереотипы до сих пор влияют не только на игнорирование меньшинств и их языков в массовом сознании, но и на языковую политику: всем меньшинствам в Японии трудно пользоваться своим языком [Gottlieb 2005: 38]. В последнее время

Япония всё больше внимания обращает на китайский и корейский языки в качестве иностранных, но они и сейчас не признаются как языки Японии. Правда, в 1994 г. в Государственном институте японского языка в Токио прошла международная конференция по малым языкам Японии, о ней см. нашу публикацию [Алпатов 1996–2001]. См. также содержащее большой материал по данной проблеме международное издание [Multilingual 1995]. Отмечают, что в последние годы китайский и корейский язык стали признаваться несколько больше, чем раньше: впервые разрешено сдавать вступительные экзамены в вузы не только по-английски, но и на этих языках [Gottlieb 2005: 30].

Все современные языки меньшинств (если не причислять к ним рюкюский, что иногда делается), появились на японских островах лишь в XX в. Единственный же исконный язык такого рода — айнский — уже можно считать несуществующим.

До второй половины XIX в. он (оттесненный к тому времени с Хонсю на Хоккайдо, Сахалин и Курильские острова) оставался стабильным: айны мало контактировали с японцами, и им даже запрещалось говорить по-японски. Японцы издавна относились к своим соседям с презрением, многие рассказы об айнах среди японцев обыгрывали звуковое сходство в японском языке слов *ainu* и *inu* 'собака'. Но японцы мало вмешивались в айнскую жизнь до эпохи Мэйдзи, когда началась быстрая колонизация Хоккайдо, к концу века завершившаяся. На айнской территории появлялись владения японцев, возникали города, прокладывались дороги, развивалась и промышленность. Всё это перешло и на Курильские острова и Сахалин после их присоединения к Японии. Айны не имели права владеть землей и лишь получали в пользование небольшие и обычно плохие территории. Их жизнь мелочно регламентировалась, многие подверглись принудительным переселениям (в том числе их по стратегическим соображениям выселили с Курильских островов).

Жесткой была и языковая политика. Айнский язык так и не получил письменности, но айнам уже не запрещали знать японский язык, наоборот, их стали ему учить (реально лишь с 1900-х гг., что один из исследователей связывает с тем, что во время русско-японской войны им отводилась роль «щита» против России [Yamamoto 1996: 34]). До 1937 г. все айны обучались в особых школах с сокращенным сроком обучения и числом предметов, основным из которых был японский язык; ни о каком двуязычии и бикультуризме не думали

[Yamamoto 1996: 39]. Японскому языку учились не только в школах, но и через бытовое общение с японцами. Уже к 30-м гг. айнские диалекты стали забываться, начался процесс языковой ассимиляции, который тогда еще можно было бы повернуть вспять, если бы приняли меры [Yamamoto 1996: 43].

После войны, в период демократизации айнов формально уравнивали в правах с японцами. Но от этого процесс исчезновения айнского языка лишь ускорился: ассимиляция, включая языковую, давала возможность повысить не только юридический, но и реальный статус, а никаких мер по сохранению айнского языка тогда не предпринималось. В итоге к 50-м гг. XX в. он вышел из реального употребления. Правда, исследователи и позже (даже в 90-е гг.) находили людей, в молодости или в детстве говоривших на этом языке, в результате язык и фольклор довольно хорошо изучены. Сахалинские айны после войны почти целиком переселились в Японию, где также перестали разговаривать на своем языке. Япония лишилась единственного своего традиционного языка меньшинства, по мировым меркам очень быстро, менее чем за столетие. И его исчезновение – результат не выбора айнов, а японской языковой политики [Yamamoto 1996: 27].

Лишь с 70-х гг., когда язык уже не функционировал, общественное отношение к нему, как и к айнской культуре в целом, стало меняться. Записанные тексты ныне покойных носителей этого языка также хранятся в фонотеке компании NHK как национальное достояние. И в нескольких японских университетах язык преподается, его можно выучить как иностранный, интерес к нему проявляют и айны, и японцы, и даже американцы. Но, разумеется, такие знания не приводят к возрождению естественного функционирования языка. Появились, впрочем, радиопередачи на нем.

В 1997 г. правительство сделало еще один шаг: айны и их язык официально защищены законом [Gottlieb 2005: 18]. Но что это может дать реально? Как указывает та же исследовательница, речь может идти лишь о сохранении элементов культуры (концерты фольклора и пр.) без связи с повседневной жизнью, которая изменилась необратимо [Gottlieb 2005: 22].

Глава 7

ПРАВИЛА ЯПОНСКОГО РЕЧЕВОГО ЭТИКЕТА

7.1. Адрессив и гоноратив

Одной из особенностей японского языка, тесно связанной и с социальным устройством общества, и с культурой, единодушно признают так называемые формы вежливости, по-японски *кэйго* (*keigo*), что буквально значит 'почтительный, уважительный язык'. Каждому японцу приходится в любом разговоре употреблять для передачи одного и того же содержания разные слова и даже разные грамматические формы в зависимости от того, с кем и о ком он говорит. Японцы придают *кэйго* большое значение, один из авторов несколько напыщенно пишет: «Язык — цветы культуры, кэйго — цветы языка» [Тоуама 2005: 137]. Как пишет Хага Ясуси, *кэйго* неотделимо от японского языкового сознания [Нага 2004: 257–258].

В данной сфере языка проявляется то же самое противопоставление «свой — чужой», но на него накладывается еще одно важнейшее для японского общества иерархическое противопоставление «высший — равный — низший». То есть одновременно действуют и горизонтальные, и вертикальные отношения между людьми [Моеган 1989: 7; 37]. Термин «формы вежливости» стал привычным, хотя точнее говорить здесь не о вежливости (которая индивидуальна), а об этикете, правила которого социально обусловлены [Храковский, Володин 1986: 224–225]. Вероятно, правомерен и термин «этикетная вежливость».

Этикетные отношения проявляются в любом языке, но в японском языке их выражение особо многообразно. Выделяется, прежде всего, то, что эти отношения здесь выражаются в грамматике. В каждом японском предложении сказуемое, выраженное глаголом, прилагательным или связкой, должно иметь определенную грамматическую форму в зависимости от отношения говорящего к собеседнику и к лицам, о которых идет речь: нередко подобные отношения пе-

редаются и в существительных. В большинстве случаев противопоставлены простые формы без специальных показателей и вежливые формы, где такие показатели представлены. В самом общем виде можно сказать, что вежливые формы используются в отношении высших и равных чужих, простые — в отношении низших и равных своих.

Мы здесь не будем подробно разбирать *кэйго* как явление языка, интересующихся мы отсылаем к своей книге, недавно переизданной [Алпатов 1973–2006]. Для пояснения дадим лишь краткую справку. В японском глаголе (а также в прилагательном и связке) есть сразу две грамматические категории. В каждой из них противопоставлены вежливые и простые (невежливые) формы. Одна из этих категорий передает отношение к собеседнику, другая — к субъекту или объекту действия, обозначенного данным глаголом. Первая категория называется адрессивом, вторая — гоноративом. Например, в романе писателя Мацумото Сэйтё (1909–1992) «Земля — пустыня» приводится диалог мужа и жены. Жена спрашивает уезжающего мужа, когда он вернется, тот отвечает. Оба употребляют один и тот же глагол *kaeru* 'возвращаться'. Муж использует этот глагол в простой форме *kaeru*, где нет никакой вежливости, а жена использует сложную форму *o-kaerini narimasu* [Matsumoto 1969: 276]. Здесь вежливость жены к главе семьи выражена дважды: как к собеседнику (суффикс *-imas*) и как к субъекту действия (вежливый префикс *o*-и вспомогательный глагол *naru*). Эти два вида вежливости могут выражаться и раздельно. Скажем, форма *kaerimasu* будет употреблена той же женщиной в разговоре с мужем, если она говорит не о нём, а, например, о себе, а форма *o-kaerini naru* — ей же по отношению к мужу в разговоре с дочерью. Тот же префикс *o*-присоединяется и к существительным (к канго — в варианте *go*): *inu* — просто 'собака', *o-inu* — собака, принадлежащая некоторому уважаемому лицу. Особо сложна система *кэйго* в глагольных формах повелительного наклонения, где имеется несколько уровней этикетной вежливости и разграничены фамильярные и грубые формы.

Надо сказать, что употребление адрессива и гоноратива обязательно не во всех речевых жанрах, а только там, где есть или хотя бы подразумевается определенный собеседник. Те или иные формы данных категорий (включая простые) обязательно должны противопоставляться друг другу в разговоре, при общении по телефону, в переписке включая электронную и т. д. А в рекламе или в речи дикто-

ра или комментатора по телевидению употребление вежливых форм адрессива и гоноратива совершенно обязательно: говорящий или пишущий ничего не знает о собеседнике (читателе или зрителе), но он должен быть, и к нему, кем бы он ни был реально, надо выражать этикетную вежливость. В романе же или научном труде обычно нет прямого обращения к читателю, и тут нормой является употребление простых форм (хотя бывают и вежливые), они тут указывают не на неуважение к читателю, а на отсутствие всякого отношения к нему. И в газете информационные материалы обычно печатаются со сказуемыми в простых формах. Исключение, однако, — сообщения о событиях в семье японского императора. О любых действиях любого члена императорской фамилии, включая маленьких детей, положено употреблять сказуемые в вежливых формах гоноратива (но не адрессива: почтение выражается не к читателю). Это — пережиток прошлого: официально император уже не считается потомком богов, традиции, однако, официально поддерживаются. Но если в той же газете дойти до страниц, посвященных саду и огороду, рыбной ловле, моде, то появляется адрессив: возникает образ читателя, к которому обращаются.

Выбор в разговоре той или иной формы в зависимости от ситуации — весьма сложная проблема, которую постоянно приходится решать каждому японцу. Он определяется разными параметрами: относительным социальным положением, возрастом, полом, исполнением тех или иных социальных ролей, психологическими факторами и др.; подробнее см. [Алпатов 1973—2006: 15—19, 39—41; Алпатов 1988—2003: 75—85]. Но важно и рассмотрение с точки зрения параметра «свой — чужой». Мы уже упоминали, что при приеме посетителя сотрудник фирмы не должен употреблять вежливые формы по отношению к своему начальнику.

О сложностях данной проблемы хорошо написал А. А. Холодович: «Японец, вступая в речевое общение, постоянно встречается с неразрешимыми противоречиями: по признаку возраста М может оказаться старше и, стало быть, выше N; по признаку пола тот же М, будучи женщиной, может оказаться ниже N, если N — мужчина; по признаку «сфера услуг» М, будучи клиентом, обслуживаемым лицом, может оказаться вновь выше N, который является, например, продавцом, и т. д. Из этого следует, что в процессе речевого общения японцу, который должен непреклонно считаться с этой довольно сложной и противоречивой иерархией, каждый раз приходится

решать (разумеется, интуитивно, бессознательно и мгновенно) задачу на преферентность иерархических признаков» [Холодович 1979: 26]. Конечно, японец в подавляющем большинстве случаев решит задачу верно, но иностранцы, даже хорошо освоившие язык во всём остальном, легко могут ошибиться. При неверном выборе речь в большинстве случаев не станет непонятной, но правила общения будут нарушены (как они будут нарушены и в русском языке при использовании, например, местоимения *ты* в неподобающем контексте; для обозначения таких ситуаций имеется даже специальный глагол *тыкать*). Бывают, однако, и случаи, когда неверное употребление форм вежливости может привести к неоднозначности: при отсутствии категории лица и частом опущении личных местоимений лишь формы вежливости могут определить, кто для кого что делает, ср. разбиравшийся выше пример с раздачей котят.

Правила выбора той или иной формы определяются более или менее стандартными правилами, которые, однако, сформулировать в полной мере достаточно трудно, а выбор формы происходит, как указывает А. А. Холодович, бессознательно. Правила могут оказаться самыми неожиданными. Вот пример: в кинофильме, где действие происходит на японской полярной станции, начальник экспедиции в одной из сцен последовательно обращается ко всем своим товарищам. Все они — молодые мужчины примерно одного возраста. Ко всем начальник обращается без всяких форм вежливости, кроме одного: это врач. Очевидно, профессия врача воспринимается в данном контексте как более престижная и связанная с образованием, чем профессии других участников экспедиции. Правила выбора, связанные с полом, мы особо рассмотрим в следующей главе.

Отметим еще некоторые особенности данного выбора между формами. Отношения между говорящим и другими людьми зависят от того, в какой обстановке они происходят. Человек, находящийся при исполнении обязанностей, повышается в ранге: автоинспектор или врач в этом случае выступает как высший по отношению к водителю или пациенту, даже если тот старше и/или социально выше. Но отношения между теми же людьми при встрече в иной обстановке могут оказаться иными. Отношения людей с точки зрения признака «высший — равный — низший» могут постоянно меняться, иногда даже разные формы адрессива могут употребляться в ходе развития одной и той же ситуации. Мы это отмечали еще в давней работе [Алпатов 1973–2006: 25–27], а в недавней книге фиксирует-

ся, как в телевизионном интервью при общем употреблении вежливых форм адрессива с суффиксом *-mas* могут появляться простые формы. Однако это возможно не всегда: например, если ведущая обращается к женщине моложе ее, либо к ней обращается мужчина старше [Tanaka 2004: 122]. То есть господствующий в диалоге признак «чужой», требующий форм с суффиксом *-mas*, может в ходе беседы отступать перед признаком «высший – низший». Но бывают и случаи устойчивости отношений; например, отношения между учителем и учеником могут сохраняться на всю жизнь [Tanaka 2004: 21]. Особое для Японии явление – отношения тех, кто учился раньше или позже в одном и том же учебном заведении (по-японски соответственно *senpai* и *kohai*) [Naga 2004: 77]. Для японца его *senpai* может также считаться высшим до конца жизни.

Но японские правила выбора той или иной формы этикетной вежливости гораздо более стандартизованы, чем, казалось бы, сходные правила выбора местоимения в обращении к собеседнику в русском и ряде западных языков. Иногда указывают на их соответствие [Tanaka 2004: 117], что отчасти верно, причем для русского языка даже больше, чем, скажем, для французского, который вспоминает Л. Танака: в русском языке есть «дружеское *ты*» и «начальническое *ты*», что сходно с функциями японских простых форм, а в западных языках обычно только первое. Но в русском языке заметна большая индивидуализация. Приведем пример, нами уже разбиравшийся [Алпатов 1973–2006: 40–41]. В пьесе М. Горького «Васса Железнова» героиня, богатая и влиятельная, но необразованная женщина, обращается к подчиненному ей управляющему с университетским обращением на *Вы* (перевешивает фактор образования), а к живущему за ее счет старшему брату – на *ты*. Одна из двух дочерей любит мать и обращается к ней на *ты*, другая холодна к ней и говорит ей *Вы*. В японском переводе Хидзиката Кэйта («Тэаторо», 1967, № 8) Васса обращается к управляющему без форм вежливости (низший!), а к брату – вежливо (важно, что он старший); языковые различия в обращении дочерей к Вассе сглажены, и обе говорят так, как положено говорить дочерям с матерью.

Это хороший перевод, где персонажи говорят так, как надо по правилам японского, а не русского языка (в данном случае уже несколько архаичным для современности, но и действие пьесы происходит в начале XX в.). Но бывают и переводы, слишком копирующие оригинал. Еще в конце 60-х гг. появился русский перевод повести

Абэ Кобо «Четвертый ледниковый период» (З. Рахима), где герой — рассказчик, заведующий лабораторией, ко всем своим сотрудникам обращается на *ты*. Так было передано обращение без форм вежливости в оригинале. Однако русское «начальническое *ты*» создавало в переводе ощущение недостаточной интеллигентности персонажа, что оригиналу не соответствовало.

Меньшие возможности свободного выбора форм этикета в японском языке отмечают и специалисты, сравнивающие японский язык с английским [Hill and al. 1986: 348, 359]; пишут, в частности, что при четком указании на статус собеседника японцы более единообразны в выборе формы [Hill and al. 1986: 361]. О большей формальности и упорядоченности японского этикета по сравнению с западным пишет и Хага Ясуси, отмечая, что он проявляется не только в грамматических правилах, но и в большом количестве приветствий, извинений и др. [Haga 2004: 249]. Об этом также надо поговорить.

7.2. Японские термины родства и обращения в семье и вне семьи

Одной из ситуаций, где этикет наиболее отчетливо выражается в любом обществе, является ситуация именованного говорящим собеседника. Она распадается на две ситуации: обращения и названия собеседника в предложении. Во многих языках в этих ситуациях используются разные языковые средства. Например, в русском языке основное средство названия собеседника — местоимения 2-го лица, где при именовании одного человека по вежливости (не всегда этикетной) противопоставлены *ты* и *Вы*. Но в функции обращения они обычно избегаются, а во многих ситуациях просто невозможны. Даже, казалось бы, вежливое местоимение *Вы* оказывается здесь крайне невежливым: *Вы, подойдите сюда!* И в японском языке эти ситуации различаются, но меньше, чем в русском, зато в обоих случаях способов именованного больше, чем в русском языке, а правила их употребления строже.

Рассмотрим в виде примера важный случай именованного собеседника в семье. По-русски в наши дни здесь, во-первых, господствует обращение на *ты* с обеих сторон (обращение детей к родителям на *Вы*, как в пьесе М. Горького, устарело); во-вторых, много индивидуальных и нестандартных именованного; в-третьих, в целом внутрисемейные обращения и именованного принципиально не отличаются от

обращений и именовании вне семьи: к друзьям могут обращаться точно так же, как к членам семьи; в-четвертых, к старшим и младшим братьям (сестрам) обычно обращаются одинаково. В Японии всё иначе: обращения между членами семьи чаще всего несимметричны, правила обычно стандартны, старших и младших братьев (сестер) именуют по-разному, а в семье и вне семьи используют разные слова. Мы уже сталкивались с примером неудачных предложений Р. Рейгана и Б. Н. Ельцина называть их по именам: в Японии обращение к взрослому мужчине по имени возможно лишь внутри семьи.

В японской семье нет равных лиц по отношению к говорящему, иерархический признак может принимать лишь два значения: «высший» и «низший». Главный признак для установления внутрисемейной иерархии — признак возраста. Высшие по определению — любые старшие члены семьи, включая старших братьев и сестер (даже среди близнецов один считается старшим, другой младшим). Эта черта обычно перевешивает признак пола: мать оказывается высшей по отношению к сыну, а старшая сестра — обычно по отношению к младшему брату. Возраст важнее и образования и социального положения: отец или старший брат остается высшим, хотя он может по этим параметрам отстать от сына или младшего брата. Исключение составляют отношения мужа и жены: они будут одними и теми же (традиционно муж — высший) независимо от того, кто из них старше. Точнее, следует говорить не о возрасте, а о поколении: дядя будет высшим по отношению к племяннику, хотя он может быть и моложе его. Но в европейских культурах не только мужа и жену, но и братьев и сестер относят к одному поколению, в Японии это не так.

Общее правило употребления имен родства вроде русских *отец*, *сын*, *брат* в семье у японцев сводится к следующему: в любой ситуации они используются только по отношению к старшему члену семьи. Отца именуют *otoosan*, мать — *okaasan*, старшего брата — *niisan*, старшую сестру — *neesan*, дядю — *ojisan*, тетку — *obasan*, деда — *ojiisan*, бабушку — *obaasan*. Все эти слова могут быть и обращениями, и именованиями в предложениях. Они могут употребляться и по отношению к соответствующим родственникам жены или мужа. Хага Ясуси считает важной чертой японской языковой картины мира отсутствие слов, по своей внутренней форме соответствующих английским словам вроде *brother-in-law* 'шурин, деверь', буквально *брат по закону*. В этом, по его мнению, проявляется то же различие культур, что и в том факте, что в Японии на душу населения в 40 раз меньше юрис-

тов, чем в США [Naga 2004: 176–177]. Такие идеи вряд ли можно доказать или опровергнуть. Впрочем, по-японски, скажем, *приемная дочь* — *giri no musume* (*giri* — ‘моральный долг’, *musume* — ‘дочь’).

Высших членов семьи не называют по именам или (исключая мужа) личными местоимениями. Вообще местоимения 2-го лица в японском языке не слишком вежливы. Впрочем, сравнительно более вежливое из них *anata* употребительно и в отношении мужа (в иных случаях оно в семье не употребляется). То, что у нас называется обращением в 3-м лице, в Японии широко применяется (имена родства, названия должностей, фамилии и имена), но не в смысле употребления местоимений 3-го лица. Эти местоимения употребляются ограниченно (их иногда рассматривают как кальки с западных языков), а в семье не употребляются совсем.

Высшие члены семьи обращаются к низшим по именам или с помощью личных местоимений 2-го лица, но не имен родства. Таких местоимений несколько, и они имеют различия у мужчин и женщин. В мужской речи их прежде всего два: *kimi* и *otae*. Первое из них чисто мужское, фамильярное и указывает на небольшую разницу в статусе между говорящим и именуемым лицом; оно употребляется и вне семьи, а в семье чаще к младшим братьям и сестрам. Местоимение *otae* наименее вежливо и указывает на большую разницу в статусе. Оно чаще всего употребляется мужчинами по отношению к низшим членам семьи, будучи не всегда уместно вне семьи. Например, в романе Исикава Тацудзо *Doro ni mamirete* ‘Испачканная грязью’ муж героини называл ее *kimi*, пока она была его невестой, но после свадьбы перешел на *otae*. В отличие от *kimi* это местоимение не считается чисто мужским, но его употребление женщинами крайне ограничено. Известная лингвистка Дзюгаку Акико размышляет о том, где бы она могла употребить местоимение «не ее мира» *otae*, и приходит к выводу, что единственная для нее возможность — обращение к собаке [Jugaku 2001: 23]. Она же отмечает, что его использование по отношению к жене в наши дни уже вызывает недовольство многих женщин [Jugaku 2001: 25]. Наиболее частое женское местоимение 2-го лица в семье — *anta*, обычно связанное с небольшой разницей в статусе говорящего и собеседника. Так старшая сестра может называть младшую, но матери чаще не употребляют личные местоимения внутри семьи, предпочитая называть детей по имени.

Надо сказать и об именовании членов семьи тогда, когда они не являются собеседниками (в том числе в их отсутствии). Здесь так-

же по отношению к высшим используются те же самые имена родства, а по отношению к низшим имена, но, как правило, не местоимения 3-го лица. Следовательно, слова со значением 'сын' или 'младшая сестра' в японском языке употребляются только по отношению к людям, находящимся вне данной семьи [Suzuki 1987c: 128]. Особая ситуация — речь о жене и муже. Муж чаще всего обратится к жене по имени, но, говоря о ней, назовет ее особым именем родства: *kanai*, *tsuma* и др. Жена же называет мужа *shujin*, буквально 'хозяин', хотя это слово в наши дни не принимается некоторыми женщинами, или *danna* 'барин' (редкий пример санскритизма, сейчас устаревает). При непосредственном общении супругов все эти слова не употребляются.

Если же в разговорах с членами семьи нужно назвать себя, то правила переворачиваются, а слова в итоге оказываются теми же самыми. Отец в разговоре с сыном может назвать себя *otoosan*, старшая сестра в разговоре с младшей — *neesan* и т. д. Местоимения 1-го лица по отношению к низшим тоже возможны. Муж в разговоре с женой может называть себя только мужским местоимением, чаще всего это невежливое местоимение 1-го лица *ore*, хотя нейтральное мужское местоимение *boku* также возможно.

Низшие члены семьи в разговоре с высшими называют себя личными местоимениями или личными именами. И здесь возможно нейтральное мужское местоимение *boku*, его женской параллелью будет *watashi* (наиболее вежливое местоимение *watakushi*, употребляемое мужчинами и женщинами, в семье не используется). Последнее местоимение иногда употребляют и мужчины, тогда как женщины не должны говорить *boku*. Существует и женское местоимение 1-го лица *atashi*, используемое при небольшой разнице статуса между собеседниками. Например, обе сестры могут так называть себя в разговоре друг с другом, однако всё равно, если одной надо назвать другую, младшая употребит имя родства, а старшая так поступить не может.

Имена младших членов семьи активно употребляются во внутрисемейном общении, но вне семьи по именам не называют; исключение — дети, где правила другие, да иногда пожилой человек может так называть молодую девушку, как бы уподобляя ее ребенку. А имена старших членов семьи в семье не употребляются. Мидзутани Осаму указывает, что очень многие японцы не знают имена своих дядей, теток, бабушек и др. [Mizutani 1981: 106]. И не употребительна в семье фамилия (в Японии до сих пор женщины, вступая в брак, обычно меняют фамилию).

Зато в общении вне семьи человека (кроме случая, когда фамилия неизвестна) большей частью называют по фамилии в сопровождении особого суффикса *sama*, *san* или *kun* (перечислены по убыванию вежливости). Другой способ – назвать его по должности. При обращении к своему начальнику отдела (*kachoo*) в фирме, если его фамилия Ямамото, допустимы три варианта: *Yamatoto-san*, *kachoo* и (реже) *kachoo-san*, но ни в каком случае не местоимение 2-го лица, поскольку местоимения по отношению к высшему будут недостаточно вежливы. В связи с этим высказывается мнение о том, что в японском языке человек, прежде всего, именуется по его функции: должности, рангу, положению в семье и т. д., но не как отдельная личность [Такиуга 2007b: 34]; см. также [Кронгауз, Такахаси 2002: 269]. И именование может меняться: если братья работают вместе, то низший по положению из них называет на работе брата (но не дома!) по должности, а не по имени родства [Свинина 2007: 153].

А имена родства вне семьи оказываются иными, чем в семье, причем отличия могут быть двух типов. О высших членах своей семьи вне семейного общения приятно говорить, используя другие слова: отец будет *chichi*, мать – *haha*, старший брат – *ani*, старшая сестра – *ane*. Другое различие заключается в том, что в ряде случаев чужих родственников называют иначе, чем своих: более вежливо. Например, чужую жену (в том числе жену собеседника) нельзя назвать *kanai* или *tsuma*, надо сказать *okusan* (*oku* – ‘внутренняя часть дома’, то есть слова *kanai*, буквально ‘в доме’, и *okusan* похожи по семантике, но уровень этикетной вежливости иной). А как быть, если надо назвать чьего-то отца? Оказывается, что здесь нужно то же самое слово *otoosan*, которым называют своего отца внутри семьи; аналогичная ситуация и со всеми другими старшими родственниками. Странно и нелогично? Нет, надо учитывать, что, например, слово *otoosan* вежливо, а слово *chichi* – нет. Внутри семьи все – «свой», и на первый план выступает семейная иерархия. Вне семьи выражать вежливость к собственному родственнику нельзя: вступает в силу отношение «свой – чужой», и мы тем самым проявляем невежливость к тому «чужому», с кем говорим. Но употребить вежливое слово к родственнику «чужого» вполне естественно. Впрочем, такому объяснению противоречит возможность сказать *otoosan* и пр. о себе: уважаемым лицом может быть кто угодно, но только не сам говорящий.

Еще специальное слово для именованя вне семьи – *sensei*, буквально ‘прежде рожденный’ (и в качестве обращения, и в качестве

обозначения в предложении). Оно настолько стало известным, что даже вошло в русский язык, правда, в суженном значении: у нас *сэнсэй* обычно называют лишь тренера по дальневосточным (необязательно даже японским) единоборствам. Но в японском языке так именуют любого образованного человека, обычно старше и образованнее, чем говорящий (часто учителей, преподавателей, врачей, но не только их). Один западный японист приводит пример: группа манекенщиц так называла ту из них, которая была на несколько лет старше и имела незаконченное высшее образование [Seward 1968: 62]. Но теперь школьный учитель может и себя назвать *sensei*, чего ранее не было [Такиуга 2007а: 36], это, вероятно, сходно с тем, что старшие члены семьи называют себя так же, как их называют младшие.

Особые трудности появляются при обращении к незнакомому человеку. В таком случае нередко выход из положения — использование имен родства для «чужих». Скажем, незнакомую женщину средних лет можно назвать, как и чью-то жену, *okusan* (в традиционном японском представлении всякая такая женщина замужем); и в русском языке незнакомому мужчине можно назвать *дядей*, только это еще более невежливо, чем в японском языке. Молодых женщин старшие по возрасту знакомые могут называть и по именам. Одна домашняя хозяйка в письме в журнал жаловалась, что потеряла имя и стала для окружающих только *okusan*, а другая, наоборот, радовалась тому, что хотя она замужем, ее еще именуют по имени [Kumagai 2001: 185—186]. Но в современной Японии все такие обращения уже не всегда достаточно вежливы, как и обращения с помощью местоимений 2-го лица. Нередко при необходимости начать диалог с незнакомым человеком лучше вообще не пользоваться никакими специальными обращениями, начиная общение словами, не обозначающими собеседника, но устанавливающими с ним контакт: *ано* ‘послушайте’, *sumimasen* ‘извините’ и др. [Такиуга 2007а: 33]. В таком случае между говорящим и слушающим сразу устанавливается некоторая дистанция, отсутствующая при использовании имен родства [Такиуга 2007б: 38].

Такая проблематика связана и с вопросом о роли этикета в диалоге, к которому мы переходим. Пока эти проблемы недостаточно исследованы, и мы ограничимся лишь некоторыми замечаниями.

7.3. Этикет в диалоге

Ряд исследователей отмечает несхожесть правил ведения диалога в японском и других, прежде всего, естественно, западных языках. В частности, в английском и других языках вводная часть диалога отсутствует или крайне невелика. Но в японском диалоге у обоих участников много, вроде бы, не несущих информации вводных слов и междометий, они, однако, нужны для установления контакта между собеседниками (фатической функции, по Р. Якобсону). Например, перед началом повествования одним из собеседников нужно, чтобы он удостоверился в отсутствии враждебных намерений у партнера, а тот пригласил его начать рассказ. Для носителя английского языка такая стратегия может показаться чересчур уклончивой, но «сотруднический» (*collaborative*) стиль японского диалога этого требует [Fuji 2007].

Еще одно явление, известное не только в японском языке, но имеющее в нем особое распространение — так называемые айdzути (*aizuchi*), буквально ‘совместные молоты’ (по-английски *backchannels*). Как правило, в ходе японского диалога, когда говорит один из партнеров, другой вклинивает в его речь разные, обычно короткие слова вроде *hai* ‘да’, *e* ‘да’, *naruhodo* ‘в самом деле’, показывая свою заинтересованность в продолжении речи собеседника и вовлеченность в диалог, а зачастую (но не всегда) и согласие с собеседником. Вопрос об айdzути подробно изучен в книге [Tanaka 2004: 137–200] на материале телевизионных интервью и в статье [Clancy and al. 1996]. Здесь показано, что они необходимы, с точки зрения японского этикета, поскольку собеседники не могут быть безучастны друг к другу [Tanaka 2004: 137]. Особая их роль в японском языке обычно объясняется постоянной необходимостью для японского этикета получать поддержку собеседника [Clancy and al. 1996: 381]. В разговоре повествовательные куски просто невозможны без участия собеседника, который должен вставлять айdzути, не прерывающие повествование, а, наоборот, сигнализирующие о необходимости его продолжения. Айdzути могут вставляться и между предложениями, и внутри предложения почти на любой границе слов, даже между знаменательным и служебным словом. Такие короткие высказывания часто неправильно понимаются иностранцами, даже достаточно владеющими японским языком. Слово *hai* значит ‘да’ в качестве ответа на вопрос, но в качестве айdzути означает не согласие, а знак понимания

и заинтересованности слушателя; однако его могут ошибочно понять как согласие [Такака 2004: 171; Akasu, Asao 1993: 102]. Количественно айэдзути встречаются в три раза чаще, чем в английском [Akasu, Asao 1993: 101], еще чаще, чем в китайском и, по-видимому, в русском языке. Для американца языковое поведение японца с частыми айэдзути может восприниматься как слишком надоедливое [Clancy and al. 1996: 383].

Оба описанных выше явления показывают важность для японского языка установления и поддержания постоянного контакта между участниками диалога. Отмечается и видное место в системе японского языка лексики, часто стандартизированной, связанной с отношениями говорящего с собеседником. Например, в японском языке одиннадцать извинений [Naga 2004: 39]. Даже при обычной еде употребляют формулы вроде *Go-chisoo-sama deshita* 'спасибо за угощение' (при выходе из-за стола) [Naga 2004: 249]. Велико и количество приветствий, многие из которых используются только в определенных контекстах. Например, при входе посетителя в магазин или ресторан хозяин или его служащий кланяется и говорит: *Irasshaimase* 'Пожалуйста!' (в больших универмагах для этой процедуры могут нанимать подрабатывающих студентов). Приветствие специфично для данной ситуации и имеет, особенность, непривычную для европейцев: в наших культурах приветствия обычно симметричны, а в данном случае посетитель не должен ничего говорить.

У американцев, как указывает Хага Ясуси, множество японских извинений, приветствий и прочих формул вызывает насмешки [Naga 2004: 250]. Впрочем, склонность японцев к церемониалу еще в середине XIX в. удивляла, а иногда возмущала первых западных наблюдателей. Американцы той эпохи сочли японцев «самым вежливым народом на Земле», но видели в этом признак лживости [Gudykunst 1993: 3], а И. А. Гончаров видел в «приседаниях» японцев признак «азиатчины» и отсталости. Но и сейчас японцы кажутся американцам, в том числе из-за языкового этикета, формалистами и конформистами [Akasu, Asao 1993: 99]. Японцы, учитывая это, могут сокращать использование форм вежливости и поклонов в деловом общении с иностранцами [Свинина 2007].

Еще особенность японского речевого этикета – частота незаконченных предложений. В японском языке конец предложения четко маркирован: оно должно завершаться главным сказуемым. Однако в спонтанной речи (не в письменных текстах) едва ли не боль-

шинство предложений выглядит оборванным. И это не считается невежливым, часто даже наоборот. Нередко оба собеседника в одном предложении успевают поменяться ролями: один из них останавливается и дает другому закончить [Akasu, Asao 1993: 103]. По выражению этих же авторов, японская речь состоит из незаконченных предложений, между которыми вставлены айдзуты [Akasu, Asao 1993: 102]. Это касается, разумеется, лишь устной речи. Л. Танака указывает, что в таких предложениях при грамматической незаконченности имеется прагматическая законченность [Tanaka 2004: 83].

И даже при грамматической законченности в японской устной речи постоянны эллипсис и недоговорки, особенно, как мы уже отмечали, в общении со «своими». Приводят такой пример диалога из двух реплик: *O-negai shimasu. Kashikomarimashita*. То есть первый собеседник говорит: *Прошу*, второй отвечает: *Слушаюсь* (обе фразы очень вежливы). Явно речь идет о какой-то услуге, но сама услуга не называется [Akasu, Asao 1993: 110]. Авторы данной работы приходят к выводу о том, что в английском языке так не говорят. Впрочем, русского читателя вряд ли удивит аналогичный русский диалог. Так что не одному японскому языку свойственны такие недоговорки, что, однако, не противоречит тому, что для японского языка они особо характерны.

Наконец, в японском речевом общении особо заметны невербальные компоненты. Бросавшиеся в глаза западным наблюдателям поклоны и приседания уменьшились по сравнению с прошлым, но и сейчас приветствие очень часто не требует словесного выражения: достаточно поклона [Tanaka 2004: 53]. Как пишет Хага Ясуси, *кэйго* японцев выражается не только в речи, но и в невербальном поведении [Haga 2004: 257–258]. Безусловно, рассмотренные нами в предыдущих главах идеи «культуры молчания» связаны и с этим фактором.

Различия в языковом поведении хорошо видны при столкновении разных культур. Японские ученые жалуются, как им бывает трудно во время стажировки в США. На заседании американской кафедры невозможно понять, кто там заведующий, кто профессор, а кто рядовой преподаватель. В Японии это всегда считается важным, а ранг человека всегда очевиден и по употреблению форм этикета, и даже по невербальному поведению. Другая ситуация связана с детьми, жившими за границей по месту службы отца, а затем возвратившимися в Японию. Они не теряли язык, но долго находились вне

японской среды и часто забывали японские правила социального, в том числе языкового поведения. И для них стали открывать специальные школы, чтобы они забыли американские привычки и научились по-японски смеяться, кланяться и употреблять нужные формы адрессива и гоноратива [Yashiro 1995: 147–157]. В России сейчас отношение к подобным детям прямо противоположно: их привычкам подражают.

7.4. Изменения в системе японского этикета

Продолжительное время японские формы вежливости считали чем-то вроде феодального пережитка, после второй мировой войны было немало предложений упразднить эти формы вообще. Реформаторы японской нормы решили, однако, ограничиться их упорядочением и сокращением. В 1952 г. были приняты нормы «*Kore kara no keigo*» («Формы вежливости отныне»). Однако даже эти меры имели лишь частичный успех. Пожалуй, из всех реформ первых послевоенных лет именно в области реформирования форм вежливости утвержденные правила в наибольшей степени разошлись с реальностью.

Тем не менее, так называемые формы вежливости стали проще по сравнению с тем, что было несколько веков или даже несколько десятилетий назад. Значительно упростились формы, связанные с этикетом, соблюдаемом по отношению к императору и членам его семьи (однако стандартные формы вежливости используются в таких случаях даже в современной газете). В самые последние десятилетия формы вежливости к субъекту или объекту действия (гоноратив), ранее применявшиеся и ко 2-му, и к 3-му лицу, всё реже используются по отношению к 3-м лицам: студенты уже обычно не выражают почтение к отсутствующему преподавателю, хотя в глаза продолжают называть его как положено. Отмечают, что уже не так строго выдерживаются в языке и возрастные различия. А вышеописанные формы семейного этикета не всегда действуют вполне строго. Один японский лингвист пишет, что, начиная с десятилетия 1955–1965 гг., традиционные правила обращения к старшим членам семьи перестали быть обязательными [Sakamoto 1983: 18].

Не всегда формы вежливости употребляют и жены по отношению к мужьям так, как это было представлено в примере из романа Мацумото Сэйтё. Во многих семьях мужья и жены начинают называть друг друга однотипно. В семьях, имеющих детей, особенно ма-

леньких, распространились обращения *фара* и *тата* (частые сейчас и в русском языке, но, как пишут японские авторы, не в английском), так же родителей называют и дети, возможны и обращения супругов друг к другу *otoosan* и *okaasan*. Пишут, что *фара* и *тата* встречались еще в литературе начала XX в., но обычными стали в послевоенное время [Hayashi 1973: 166]. Судзуки Такао даже описал ситуацию, когда пожилая женщина называла *тата* свою дочь, имевшую ребенка, отмечая, что такое употребление необычно, но возможно [Suzuki 1987c: 141–142].

Так же как жалуются на избыток гайрайго, не одобряют и забвение традиционного употребления *кэйго*. Особенно этим отличаются люди старшего поколения, пример — книга [Тоуама 2005], автор которой родился в 1923 году. Он осуждает неумение современной молодежи писать письма в соответствии с привычными правилами, употреблять должным образом приветствия, не путаться в значениях употребляемых слов и грамматических форм (например, почтительную лексику применяют к себе) и пр. [Тоуама 2005: 11–21]. Однако даже Хага Ясуси, в целом скорее настроенный традиционно, без осуждения пишет, что речь современных японцев более динамична, и они меньше думают об этикете, чем раньше [Naga 2004: 253].

Однако пока говорить об исчезновении *кэйго* преждевременно. Стандартные формы вежливости очень устойчивы, а в некоторых сферах языка их употребление совершенно обязательно. Достаточно назвать официальное общение, рекламу, телевидение, наконец, бизнес. А в наши дни отмечают, что в процессе урбанизации и развития бизнеса роль форм вежливости (этикета) даже возрастает [Ide 1982: 376–377]. И жалующийся на упадок *кэйго* Тояма Сигэхико признает, что забываются наиболее сложные правила, но наиболее стандартные формы вежливости вроде глагольных форм с суффиксом *-mas-* даже становятся распространеннее за счет более редких форм [Тоуама 2005: 20]. А в диссертации об устной деловой речи в Японии отмечено следующее: «Некоторые японские компании гордятся демократичными и свободными отношениями между своими сотрудниками, отсутствием строгой системы иерархии. По наблюдениям исследователя Т. Наканэ, даже такие успешные предприятия, появившиеся после окончания второй мировой войны, как «Сони», «Хонда», неоднократно заявляли о простоте своей системы управления, либерализме. Однако по достижении определенно-

го уровня развития, когда успешная деятельность стала для этих компаний нормой, и увеличилось количество сотрудников, начала складываться и система рангов по традиционному японскому образцу, определилась форма отношений между сотрудниками, стали соблюдаться этикетные нормы делового общения. Сами японцы считают такой феномен свидетельством того, что компания «повзрослела» [Свинина 2007: 42]. Можно сопоставить «взросление» целых компаний с взрослением отдельных членов японского общества: речь школьников и студентов, еще не занявших место в социальной иерархии, часто имеет большие отклонения от нормы, в том числе и в области *кэйго* [Благовещенская 2007], но затем она стандартизуется.

Безусловно, современное японское общество не столь жестко иерархично, как сословное общество эпохи Токугава (XVII–XIX вв.), когда система этих форм была наиболее богатой и сложной. Но и в наши дни функционирование данной системы поддерживается и социальной структурой, и всё той же привычкой выделения своих и чужих.

Глава 8

МУЖСКАЯ И ЖЕНСКАЯ РЕЧЬ

8.1. Как говорят японские мужчины и женщины

Различия между мужской и женской речью существуют всегда, поскольку они вызваны чисто биологическими особенностями: женский голос обычно выше мужского. Однако для лингвистики интереснее те различия, которые обусловлены (прямо или косвенно) социальными причинами: роли мужчин и женщин в обществе издавна распределялись, а в традиционных, патриархальных обществах женщины занимали и продолжают занимать подчиненное положение. Это находит отражение в том, как говорят мужчины и женщины. Но отличительные особенности в том или ином языке могут быть и очень значительными, и едва заметными.

В последние десятилетия на Западе (гораздо в меньшей степени в России) распространились исследования по так называемой гендерной лингвистике. Слово *гендер* (от латинского слова со значением 'пол') в современной науке обозначает половые различия в социальном, а не биологическом аспекте. И в японском языке сейчас широко распространилось соответствующее гайрайго (из английского языка) *zendaa* (тогда как биологические различия обозначают другим гайрайго *sekkusu*). Сасаки Мидзуэ отмечает, что это слово еще в 2000 г. было мало известно, а к 2003 г. распространилось даже в обиходной речи [Sasaki 2000–2003, 2: 310].

Гендерная лингвистика часто сводится к двум полярным типам различий. Об особых мужских и женских языках, имеющих особую лексику, а иногда даже фонетику и грамматику, чаще всего пишут применительно к «экзотическим» языкам народов, культура которых считается традиционной. С другой стороны, выявляются очень тонкие, не лежащие на поверхности гендерные различия в английском и других языках развитых стран. А японский язык, несмотря на то, что там различия гораздо более очевидны, чем в европейских язы-

ках, часто учитывается недостаточно, что отмечают японисты [Tanaka 2004: 24–25]. Речь, разумеется, идет лишь об исследованиях за пределами Японии. В Японии, где данная проблематика также долго игнорировалась, ей начали заниматься раньше, чем на Западе [Tanaka 2004: 26–27]. Переломным моментом считают конец 70-х гг. [Endoo 2001a: 16–17]: тогда вышла первая книга по женскому варианту языка, принадлежавшая видной лингвистке Дзюгаку Акико [Jugaku 1979], а в следующем году появился специальный выпуск журнала «Котоба». В развитии гендерных исследований в японской лингвистике сыграло роль то, что к этому времени среди языковедов в Японии появилось много женщин, которые активно занялись этими проблемами. Сейчас почти ежегодно выходят монографические исследования по гендерной лингвистике [Endoo 2001a: 19]. Из работ последних лет отметим сборник статей [Оппа 2001] и недавнюю книгу [Nakatuga 2007], в которой рассматривается социальный аспект проблемы. Любопытен также двухтомный словарь мужских и женских слов [Sasaki 2000–2003], куда включена лексика самого разного рода, как-то связанная с гендерными отношениями: слова и грамматические элементы, употребляемые мужчинами или женщинами, лексика, обозначающая мужчин или женщин, и даже слова имеющие какую-то специфику подобного рода вплоть до *naku* 'плакать'. Среди публикаций, появившихся на Западе, выделяется книга [Shibamoto 1985]. В России за последнее время защищена диссертация [Крнета 2003], немалый материал содержится также в диссертации [Благовещенская 2007].

Японский язык находится как бы посередине между некоторыми языками народов, где полностью господствуют традиции древних эпох, и языками вроде русского или английского, где гендерные различия надо особо выискивать. Этот язык демонстрирует, что значительные расхождения между мужской и женской речью свойственны и современным развитым странам. Например, в переводах с японского на западные языки, хотя и добавляются местоимения вроде *он*, *она* в японском языке (появившиеся под влиянием западных языков, но мало употребительные), но самые яркие особенности японской мужской или женской речи остаются без каких-либо эквивалентов [Sasaki 2000–2003, 2: 1–3]. Сразу отметим, что тот японский язык, который отражается в учебниках и нормативных грамматиках, в основном отражает то, как говорят мужчины, поэтому специально чаще изучают женские особенности, чем мужские: они в большей степени воспринимаются как отклонения от нормы.

Мы уже упоминали, что в средние века женщины не только говорили, но и писали не так, как мужчины, и одновременно существовали мужская литература на камбуне и женская литература на чистом японском языке. Нынешние различия, однако, не восходят к тем временам. Исследователи обычно возводят их к языку придворных дам XV–XVII вв. (*nyoobo-kotoba*), хотя есть и мнение, что этот язык был в то время распространен и среди женщин, и среди мужчин, и лишь позже стал считаться женским [Nakamura 2007: 67–80]. Сейчас различия мужской и женской речи в некоторых случаях настолько велики, что можно говорить о мужском и женском вариантах языка. Различия могут проявляться и в интонации, и в лексике, и в синтаксисе, и даже в употреблении некоторых грамматических элементов языка; особо надо отметить различия в формах вежливости и в особенностях ведения разговора.

Более всего расхождения проявляются в устной диалогической речи, хотя в той или иной мере могут проявляться везде. По мнению некоторых специалистов, пол пишущего легко идентифицируется и в письменном тексте [Akasu, Asao 1993: 89], хотя другие указывают (что, видимо, точнее), что это иногда возможно, иногда нет: существует особый женский стиль письма, хотя сейчас не все писательницы ему следуют [Urushida 2001: 82, 88]. В устной речи различия тем заметнее, чем менее официальна ситуация общения. В официальном диалоге (как и во многих видах письменной речи) грамматических и лексических различий может и не быть, но различия могут проявляться на дискурсивном уровне [Tanaka 2004: 29]. Всё это в основном связано с тем, что большинство наиболее явных мужских или женских особенностей имеет ярко выраженный разговорный характер, хотя может выразиться и на письме, особенно при распротранившемся в наши дни общении по Интернету и SMS.

С некоторыми особенностями мужской и женской речи мы уже сталкивались. Местоимения 1-го лица *boku*, *ore* — чисто мужские (о ненормативном употреблении *boku* женщинами см. ниже), *washi* (сейчас редко) обычно мужское, редкое местоимение 1-го лица *ataku-shi* — чисто женское, более частое *atashi* распространеннее у женщин. Местоимение 1-го лица *watashi* употребляется мужчинами и женщинами, но для молодежи оно становится женским [Endoo 2001b: 37]. Из личных местоимений 2-го лица *kimi* и *omae* — мужские (хотя выше упоминалось, что женщина может назвать *omae* собаку), *anta* — чаще женское. Различия в употреблении местоимений ус-

тойчивы, даже у студентов, наиболее склонных к нарушению правил [Ozaki 2001: 145–146]; это — «прототипические гендерные показатели», сохраняющиеся даже в более официальных стилях вроде телевизионных интервью, где иные расхождения могут стираться [Tanaka 2004: 133]. Различия могут отражаться даже таким образом: в книгах о животных и на клетках в зоопарках пол животного (текст подается якобы от его имени) иногда выражается местоимением *boku*, *ore* или *watashi*: *Naze ore wa neko ni umarete kita no daroo* (надпись в календаре) ‘Почему я родился котом?’. Пол в этой фразе выражен только местоимением.

Другое явное различие — разный (хотя частично пересекающийся) набор так называемых модально-экспрессивных частиц. Они исключительно часты в любой неофициальной разговорной речи (или в ее имитации, например, в женских журналах), заканчивая большинство предложений. Этим, кстати, речь японцев обычно отличается от речи иностранцев, которые из всех средств японского языка хуже всего осваивают именно частицы данного типа [Sasaki 2000–2003, 2: 307]. Они присоединяются к сказуемому или к другому последнему слову предложения, если оно оборвано, выражая разнообразные отношения с собеседником (предложения согласиться, подтверждения и пр.) или те или иные эмоции говорящего. Есть чисто мужские частицы: *zo*, *ze*; еще больше чисто женских частиц: *wa*, *no*, *kashi-ra* и др. Некоторые вроде бы общие частицы у мужчин и женщин различаются интонацией и/или значением. Таким образом, в разговорной речи такие частицы — четкий индикатор гендерных различий: они указывают на разные правила речи для мужчин и женщин. Поэтому их вводят даже в переводы на японский язык, например, интервью, когда надо передать женскую речь [Yabe 2001: 178–179]. Данный вид гендерных различий восходит еще к временам Мэйдзи [Nakamura 2007: 127, 138]. Сейчас в целом эти различия сохраняются, хотя и указывают, что по сравнению с местоимениями модально-экспрессивные частицы не столь устойчивы именно как средство различения мужской и женской речи, нередко, особенно среди молодежи, специфических мужских и женских частиц избегают [Sasaki 2000–2003, 2: 309; Yabe 2001: 179]. Но в женских журналах, где требуется следовать стереотипам об отличиях женской речи, их количество растет [Nakajima 2001: 57]. Указывают и на устойчивость некоторых частиц: даже женщине, не говорящей «по-женски», трудно обойтись без частицы *wa* [Suzuki Ch. 2001: 96].

Еще одно яркое различие, скорее статистическое, чем абсолютное, — обилие в женской речи незаконченных предложений, в том числе с опущенной связкой; контекстная законченность часто создается употреблением модально-экспрессивной частицы. Хотя, как говорилось выше, такая незаконченность встречается и у мужчин, но для женщин она более специфична [Tanaka 2001: 28]; если в среднем в журналах 60% всех предложений (включая прямую речь) завершаются сказуемыми, то в женских журналах — 28–33% [Nakajima 2001: 56]. Отмечают и большую частоту в женской речи восклицательных предложений [Nakajima 2001: 56–57], стяжения аналитических глагольных форм в синтетические [Endoo 2001a: 20], разное употребление междометий [Sasaki 2000–2003, 2: 260–264], различный набор слов-паразитов в мужской и женской речи [Reinozuru 2001: 103–104].

Имеется специфически мужская и специфически женская лексика, зафиксированная в словаре [Sasaki 2000–2003], хотя различия здесь чаще имеют статистический характер. Различия обычно связаны с этикетом, причем нередко противопоставлены не чисто мужское и чисто женское слово, а гендерно выраженное и немаркированное: *kuu* ‘есть’, *hara* ‘живот’ считаются мужскими и слишком грубыми для женщин, а противопоставленные им более вежливые *taberu*, *o-naka* нейтральны с гендерной точки зрения. В прошлом использование женщинами канго не допускалось и даже запрещалось, в частности, в эпоху Токугава [Nakamura 2007: 50]. Сейчас, разумеется, таких ограничений нет, но в целом сложные канго чаще употребляются мужчинами [Моегап 1989: 12]. В довоенные годы женщины мало осваивали и гайрайго, но теперь, по мнению Дж. Стенлоу, женщины в какой-то степени берут в этой сфере реванш за позднее освоение канго, и в освоении новых гайрайго они могут оказываться впереди [Stanlaw 2004: 127].

И, безусловно, различия мужской и женской речи во многих аспектах связаны с иерархическими отношениями и этикетом. В предыдущей главе приводились примеры различий в семье. В отличие от местоимений подавляющее большинство глагольных форм адресива и гоноратива могут употребляться мужчинами и женщинами. Исключение составляют наиболее грубые формы повелительного наклонения, и то женщины могут их употребить в лозунгах или при скандировании, но не при обращении к конкретному человеку. Однако всегда действует не абсолютное, а относительное правило: при

прочих равных условиях чем вежливее форма, тем вероятнее использование ее женщинами. Поэтому наиболее вежливые формы воспринимаются как «нормально женские», а наиболее невежливые — как «нормально мужские», что отражается даже в телевизионных интервью, где общие гендерные различия могут быть не так велики [Tanaka 2004: 131].

Различие в употреблении форм этикетной вежливости заметно и в письменной речи. Иногда даже выделяют как особый жанр сочинения «пишущих домохозяек» — письма в журналы и газеты, часто на свободную тему. Особенность этих сочинений — употребление вежливых форм адрессива и модально-экспрессивных частиц [Urushida 2001: 86; Kumagai 2001: 183]. Их авторы как бы разговаривают с неизвестным собеседником, используя разговорные слова и грамматические формы. Мужчины так обычно не пишут, хотя употребление стандартных вежливых форм адрессива с суффиксом *-mas* нередко встречается и в текстах, сочиненных мужчинами.

Статистически преобладает и распределение ролей в диалоге. Часто один из его участников бывает главным: он выбирает тему, переходит от одной темы к другой, задает вопросы, перебивает собеседника. Бывает, что собеседники меняются ролями, но если один из участников диалога выше другого по положению, то он обычно остается ведущим с начала до конца. Вышеупомянутые айдзути не в ста процентах случаев, но чаще всего употребляются подчиненным участником диалога, который помогает ведущему. В японском диалоге роль его подчиненного участника часто сводится к айдзути и ответам на вопросы, иногда к дополнению слов собеседника, который его свободно прерывает [Tanaka 2004: 99, 104]. Возможны и менее явные средства обозначения господства в диалоге: выбор лексики, уклонение от прямого ответа и др. [Tanaka 2004: 99].

Как показывают многие наблюдения и опыты, чаще всего женщины оказываются в подчиненном положении по отношению к мужчинам. В одном из опытов испытуемых разного пола произвольно разбивали на пары и предлагали им вести свободный диалог, скрыто записывавшийся, и во всех парах лидером оказался мужчина [Yamazaki, Yoshii 1984]. И в публичных диалогах по телевидению (интервью, ток-шоу и пр.), как правило, говорят и высказывают свои мнения мужчины, а роль женщин сводится к айдзути [JT, 29.03.1985]. На телевидении очень распространены интервью, в которых не два, а три участника: интервьюируемый, интервьюер (мужчина) и его ассис-

тентка, молодая девушка, по-видимому, не из постоянного штата. Двое ведут беседу, а девушка подбадривает основных участников, выражая эмоции и проявляя своими айдзути заинтересованность в развитии диалога [Tanaka 2004: 36]. Такие интервью и мы постоянно наблюдали в 2007 г., а по каналу NHK теперь и прогнозы погоды ведут мужчина-метеоролог и его ассистентка, роль которой сводится к айдзути.

Пределный случай подчиненной роли в диалоге — молчание. Хотя «культура молчания» распространяется и на мужчин, но особенно оно свойственно женщинам. В эпоху Токугава вообще считалось, что женщины, кроме случаев крайней необходимости, не должны разговаривать [Nakamura 2007: 57]. И традиции молчаливости женщин сохранялись и в более поздние эпохи [Sasaki 2001: 233], иногда проявляясь даже сейчас.

В ряде жанров гендерные различия специально культивируются. Один из примеров — реклама. Она характеризуется, во-первых, адресностью (товары для мужчин, товары для женщин), во-вторых, созданием обобщенных стандартных образов мужчины и женщины. Поэтому в рекламе активно используются мужские и женские местоимения и другие индикаторы; часто по ним можно определить адрес рекламы: крупные автомобили рекламируются «по-мужски», небольшие автомобили «по-женски» [Hayakawa 2001: 48]. Языковой и визуальный образы поддерживают стереотипы: женщины в 70 % рекламы — в возрасте от 20 до 30 лет, и женщины в отличие от мужчин не изображаются на работе [Hayakawa 2001: 44].

Другой такого рода жанр — уже упоминавшиеся женские журналы. В 1987 г. в Японии издавалось 28 массовых журналов, рассчитанных на разные группы адресатов (молодые девушки, домашние хозяйки), общим тиражом 7 миллионов экземпляров [Sasaki 2000–2003, 2: 301]. Автор исследования языка этих журналов отмечает, что за 80–90-е годы там особенности женской речи строго соблюдались и даже стали встречаться чаще [Nakajima 2001: 52]. С другой стороны, немало и печатных изданий, рассчитанных на мужчин, к их числу относятся и спортивные издания, как правило, не рассчитанные на чтение женщинами (хотя в Японии развит и женский спорт, эта сфера считается олицетворением традиционных мужских качеств). Там отражаются мужской вариант языка и, как жалуются авторы-женщины, мужское отношение к женщине как к предмету потребления [Satake 2001c]. Еще один жанр, где сознательно поддерживается

традиция гендерных различий — песенные тексты «про любовь», где мужчина называет свою партнершу *otae* или *kimi*, а она его *anata* [Ochiai 2001].

Наряду с этими жанрами, уже давно существующими, имеются и новые речевые жанры и стили, создающиеся на наших глазах. Среди школьниц, студенток и «офисных леди» получил распространение так называемый *gyaru-moji* 'девичий алфавит', иногда также именуемый *heta-moji* 'неумелый алфавит'. Он употребляется исключительно для дружеского письменного общения между девушками, обычно по мобильному телефону, но иногда и от руки; он пропагандируется в журналах для девушек. Для *gyaru-moji* характерны графическое видоизменение письменных знаков (иероглифов, хираганы, катаканы), их использование в границах, не предусмотренных нормой. Строгих правил здесь нет, возможны любые индивидуальные вольности. О *gyaru-moji* см. [Gyaru-moji; Благовещенская 2007]. Несколько ранее, в 80–90-е гг. существовал другой графический стиль *maru-moji* 'круглое письмо', в котором иероглифы и знаки каны сохраняли некоторый инвариант, но особым образом деформировались; он также распространялся среди девочек-подростков и молодых девушек. См. о нём [Kikuchi 1992; Маевский 2000: 154–155]. Сейчас этот стиль вышел из моды. Если сравнить *maru-moji* и *gyaru-moji*, то можно видеть, что, во-первых, более поздний стиль рвет с традицией радикальнее: знак может терять инвариантность, например иероглиф может разделиться на два, чего раньше не было, во-вторых, в более раннем стиле сохранялись некоторые устойчивые правила деформации знаков, а сейчас степень свободы увеличилась. То есть отклонения от стандарта со временем стали больше.

В недавнем отечественном исследовании, посвященном языку современной японской молодежи [Благовещенская 2007], отмечено, что молодежные жаргоны юношей и девушек значительно различаются. К тому же, если студенческие жаргоны свойственны обоим полам (и здесь как раз речь юношей и девушек иногда бывает очень похожа), то специфические женские жаргоны характерны и для молодых сотрудниц компаний — «офисных леди» (OL). Но их сверстники-мужчины, попадая в фирму, в целом начинают говорить «повзрослому», и в их речи меньше отклонений от стандартного *kyootsuugo*.

В целом различия мужской и женской речи увеличиваются с возрастом, они минимальны в детстве, невелики и у студентов, достига-

ют максимума в возрастной группе 50–60 лет, потом немного уменьшаются [Ogino 1983: 89].

Итак, в Японии гендерные различия в речи особенно существенны и осознаваемы. Западные специалисты говорят о двух разных регистрах японского языка, отражающих две субкультуры [Tanaka 2004: 23–25]. Как правило, совсем избежать их невозможно [Gengo-seikatsu, 1984, 3: 8]. Японский лингвист Эндо Ориэ указывает, что для японской женщины (по крайней мере, взрослой) использование женских особенностей речи производится бессознательно, а сознательные усилия нужны как раз, чтобы избегать их [Endoo 2001b: 35].

Однако когда появляются эти различия? Эндо Ориэ считает, что в раннем детстве пол не осознается, а гендерные различия в употребляемом языке вырабатываются постепенно [Endoo 2001b: 35]. Он скорее склонен считать эти различия естественными, но есть и иная точка зрения. В том же сборнике другой автор рассматривает речь детей-второклассников (7 лет) в одной из школ префектуры Оита (остров Кюсю). Оказывается, что мальчики и девочки говорят почти одинаково, девочки даже могут называть себя *boku* (как уже указывалось, одна из самых устойчивых черт мужской речи) [Honda 2001: 139]. Здесь же говорится о том, что в современной начальной школе мальчиков и девочек воспитывают более или менее одинаково, но учитель постепенно знакомит их с тем, как нужно говорить мужчинам и женщинам, эти знания, однако, вырабатывается довольно поздно: позже, чем знание *кэйго* и умение спрягать глаголы [Honda 2001: 140–142]. А для самих девочек женские речевые особенности долгое время воспринимаются как особенности речи их матерей, а не их самих, и их освоение сильно зависит от учителя [Honda 2001: 143].

То есть все-таки особенности мужской и женской речи в Японии, хорошо заметные любому наблюдателю, не врожденны, а вырабатываются в обществе и более под влиянием социального окружения, чем семьи. И нельзя отрицать того, что это не столько чисто языковое явление, сколько социально-культурное. К рассмотрению этой проблематики мы и переходим. Ее мы уже касались в книге [Алпатов 1988–2003: 96–103], но мы должны учитывать, что в этой области за последние два десятилетия произошли немалые изменения и появились важные исследования, поэтому мы не можем игнорировать эту тему.

8.2. Почему так говорят японские женщины

Традиционно свойством женской речи в Японии считается *onnarashisa* 'женственность', под которой понимаются мягкость, вежливость, скромность, внимательность к собеседнику, а во многом также обращение внимания не столько на содержание речи, сколько на ее форму [Nakamiga 2007: 58]. Соответственно в мужской речи ценится «мужественность» (*otokorashisa*): четкость, информативность и пр.

Эти свойства в Японии традиционно считаются извечными и объясняются психологическими или даже биологическими причинами. Однако распространен и другой взгляд, особенно часто встречающийся у авторов-женщин: существующие различия имеют чисто социальные причины и всегда, прямо или косвенно, связаны с дискриминацией женщин, которая в Японии сильнее, чем в большинстве развитых стран. Как пишет японская лингвистка, в женском равноправии во всех его аспектах, включая и языковой, Япония отстала от США [Sasaki 2001: 236–237]. И автор исследования дискурса телевизионных интервью Лидия Танака, отмечающая, что в данном жанре различия мужской и женской речи не столь выражены, как во многих других, пишет, что даже здесь видна второсортность японских женщин, которым далеко до равноправия [Tanaka 2004: 104].

Особенно ярко такая точка зрения отражается в книге [Nakamiga 2007], где исследованы как сами речевые различия гендерного характера от эпохи Муромати (XV–XVI вв.) до 50–60-х гг. XX в., так и взгляды на эти различия в японском массовом сознании и в японской науке тех лет. Исследовательница, опирающаяся на идеи западных неомарксистов, отстаивает идею о том, что гендерные различия в языке – это, прежде всего, идеология неравноправия [Nakamiga 2007: 3, 27, 38], а всё остальное, включая языковые различия, – следствия навязывания этой идеологии массовому сознанию. Она, в частности, использует идею английского социолингвиста – марксиста Дж. Ферклу о том, что социальное господство бывает эффективнее, если политика маскируется под повседневную жизнь, и навязываются правила бытового поведения, включая языковое [Nakamiga 2007: 60].

В книге показано, что оценки женского речевого поведения в Японии менялись со временем, но всегда отражали идеологию неравноправия. В эпохи Муромати и Токутава считалось, что женщинам не следует говорить, а правила языкового поведения для жен-

щин, закрепленные в специальных наставлениях, были в основном запретительными [Nakamura 2007: 42–50]. Во времена Мэйдзи от запретов перешли к предписаниям того, как надо говорить в тех или иных ситуациях [Nakamura 2007: 117], прежде всего потому, что сложилась концепция женщины как «хорошей жены и умной матери», а умная мать должна не только вести хозяйство, но и воспитывать детей, что требовало умения с ними разговаривать. Однако при формировании норм нового литературного языка ориентировались исключительно на мужские разновидности языка [Nakamura 2007: 174]. Женский вариант сначала не нормировался, но к концу эпохи Мэйдзи его образцы стали распространяться через школы для девочек (образование тогда было раздельным) и женские романы, получившие широкое хождение [Nakamura 2007: 158–159]. По мнению Накамура Момото, в основе этих образцов лежала речь девочек – учениц, особо отличавшаяся от мужской; ее особенности стали нормами, в основном сохраняющимися до сих пор [Nakamura 2007: 156–157]. В предвоенные и военные годы особенности женской речи стали рассматриваться уже как часть языкового стандарта, лингвисты начали говорить о мужском и женском вариантах японского языка [Nakamura 2007: 234–236]. После войны в период демократизации говорили о необходимости избавиться от различий этих вариантов, но, как считает автор книги, в данном случае победила националистическая традиция и в основу языковой политики легли всё те же идеи языковой «женственности» (*onnarashisa*) [Nakamura 2007: 304–307].

И, безусловно, эти идеи в современной Японии очень сильны, что можно видеть и из тех фактов, которые приводились выше. В рекламе, женских и мужских журналах сознательно культивируются речевые различия, поддерживающие стандарты и стереотипы. Исследовательница языка женских журналов пишет, что женщины меняются, а мир женских журналов – нет [Nakajima 2001: 59]. Разумеется, в создании всяческих стереотипов, в частности, идеала мужчины и идеала женщины, включая речевой идеал, велика роль телевидения [Tanaka 2004: 38; Takasaki 2001: 117]. Вышеуказанное разделение ролей между мужчиной – профессиональным журналистом и девушкой, лишь выражающей эмоции, очень типично, а постоянно мелькающие на экране красивые девушки обычно не являются профессионалами и нанимаются временно [Takasaki 2001: 114], то есть это те же «офисные леди», работающие короткий период между окончанием учебы и замужеством. Всё равно и с их учетом женщи-

ны на государственном канале NHK в 1999 г. составляли лишь 15 % персонала, что вдвое меньше, чем на телевидении США и Европы [Takasaki 2001: 113]. А женщины — профессионалы на телевидении, например, дикторы иногда подражают коллегам — мужчинам, читая новости более низким голосом [Takasaki 2001: 120].

И наличие женских вариантов языка нередко отражает, хоть и косвенно, подчиненное положение женщин. Почему «офисные леди» любят говорить по-особому, а их коллеги иного пола быстрее теряют молодежные особенности речи? Вероятно, дело в том, что молодой мужчина, допускающий вольности в поведении, включая речевое, пока он учится и еще не имеет места в жесткой социальной иерархии, начав работать, стремится поскорее вписаться в эту иерархию. Но незамужняя девушка, начав работать, всё еще не заняла в обществе своего места: согласно традиционным представлениям (сейчас уже разделяемым не всеми женщинами), это лишь временный этап жизни перед замужеством, во время которого она зарабатывает на приданое и ищет жениха. Поэтому она еще может допускать вольности в речевом поведении. Став *okusan*, «хорошей женой и умной матерью», она тоже оставит языковые новации.

Очевидна, поэтому, и связь между статусом женщины и ее речевыми особенностями в разных возрастных группах. Нет особой разницы в социальных ролях мальчиков и девочек или даже студентов и студенток, зато, когда в соответствии с традициями японского общества мужчина начинает подниматься по социальной лестнице, а женщина уходит в домашние дела, их роли всё более расходятся; в старости, когда мужчина оставляет работу, роли вновь сближаются. Всё это до сих пор отражается в языке.

Отмечают даже, что именно неравноправие женщин заставляет их пользоваться гайрайго, иногда вновь создаваемым, а то и английским языком. В одной песне, сочиненной и исполняемой японкой на английском языке, героиня делает брачное предложение — шаг, не предусмотренный для женщины японскими социокультурными нормами, для которого даже трудно найти подходящее выражение по-японски [Stanlaw 2004: 140].

Но жизнь меняется, и вместе с ней меняются представления. Сейчас уже больше половины замужних женщин работает полный или неполный рабочий день. И отмечают, что Олимпийские игры 2000 г. в Сиднее оказались первыми в истории Японии, где среди японских чемпионки оказалось много замужних женщин, и некото-

рые даже имели детей, хотя раньше спортсменки обязательно заканчивали карьеру с замужеством; эта тема активно обсуждалась в японских СМИ [Yabe 2001: 173–174]. Не новость уже и женщины – министры, руководители компаний и пр., хотя общественное мнение не всегда это принимает. Например, автор исследования об отражении гендерных различий в японских комиксах – манга, исключительно сейчас популярных в стране, пишет, что образ женщины – руководителя там постоянно негативен, в том числе высмеиваются и особенности ее речи [Koyano 2001].

Но это, как правило, мужская точка зрения. А среди женщин всё более распространены идеи о необходимости достичь не только равноправия, формально записанного в конституции, но и подлинного равенства с мужчинами, что закономерно приводит к идеям отбросить любые различия в языке и речи. Играет роль и распространение приходящих из США и других стран идей. Хотя *feminisuto* в японском языке может быть и мужчиной, облегчающим женщинам их домашний труд, но там распространен и феминизм в обычном смысле, появившийся в Японии довольно поздно, лишь с 80 х гг. [Sasaki 2001: 228]; статьи представительниц этого движения включены и в сборник [Оппа 2001]. Одна из феминисток там пишет: мы против и женственности (*onnarashisa*), и мужественности (*otokorashisa*), мы за «самость» (*jibunrashisa* от *jibun* ‘сам’) [Оппа 2001: 224–225]. Феминистская лексика включена и в словарь [Sasaki 2000–2003].

Независимо от того, является ли та или иная женщина феминисткой, призывы, в основном со стороны женщин, к изменению языковых и речевых норм и соответствующей практики появляются постоянно. Пишут о том, что японские женщины всё более хотят, чтобы на них смотрели не как на жен и матерей, а как на личности; поэтому вызывает их протест традиционная система именовании женщин в семье и вне семьи, о которой говорилось в предыдущей главе: многие из них не хотят, чтобы их называли по именам родства, а они именовали мужа «хозяином» [Kobayashi 2001: 133]. Женщины борются с такими словами как *shufu* ‘хозяйка’, *miboojin* ‘вдова’ (буквально ‘еще не умершая’) и даже *bijin* ‘красавица’ [Sasaki 2001: 230–231]; см. также [Gottlieb 2005: 109]. Феминистки требуют даже прекратить употребление в качестве обращения словосочетания *onna no ko* ‘девочка’, буквально ‘ребенок – женщина’ [Sakurai 2001: 156]. С другой стороны, благодаря ним в язык вошло немало лексики, связан-

ной с дискриминацией женщин, в большинстве это гайрайго [Sakurai 2001: 159; Satake 2001b: 164–165].

Среди требований феминисток есть и максималистские, но многие из таких требований учитываются в языковом стандарте. Так, в значении ‘женщина’ в японском языке имеются три слова: ваго *onna* канго *fujin* и *josei* (*fu* и *jo* также значат ‘женщина’, *jin* – ‘человек’, *sei* – ‘пол’). Раньше все они считались вполне синонимичными. Однако в последнее время решили, что первые два из них слишком связаны с дискриминацией женщин, а лучше всего звучит *josei* (это слово удобно тем, что у него есть однотипный антоним *dansei* ‘мужчина’, а другого канго антонима нет, ваго же, видимо, кажется стилистически сниженным). Об этом постоянно заявляли женщины [Satake 2001a: 73], в результате в официальных документах и в газетах слово *fujin* исчезло, а слово *onna* крайне редко, господствует *josei* [Satake 2001b: 163; Gottlieb 2005: 110]. Эта замена обсуждалась даже в манга, где она была воспринята неодобрительно, что естественно с мужской точки зрения [Коуапо 2001: 206]. На телевидении стараются не употреблять слово *bijin* ‘красавица’ (только о женщине без наличия мужского эквивалента) [Sasaki 2001: 231], а в телевизионных спектаклях традиционные семейные именованья *shujin* (о муже), *kanai* (о жене) обычно употребляют персонажи пожилого возраста [Sasaki 2000–2003, 1: 3].

Еще одно изменение нормы – обозначение в некрологах. Традиционно после фамилии и имени умершего шло *shi* для мужчин и *san* для женщин. Это было связано с тем, что мужчины характеризовались по профессии и/или должности, а женщины (за редкими исключениями писательниц или актрис) – как жены каких-то известных людей. Это вызывало протесты женщин, желавших, чтобы всех обозначали одинаково [Satake 2001b: 166]. И теперь в «Асахи», «Иомиури» и других газетах *shi* упразднено, и всех умерших равно называют *san*. Еще вопрос: как указывать пол человека, именуемого по должности или профессии? Личные имена в таких случаях не всегда возможны, а фамилии в японском языке (в отличие от русского) пол никогда не различают. Поэтому если речь идет о женщине, добавляется слово, обозначающее ее пол (сейчас обычно *josei*). Это также вызывает недовольство феминисток, поскольку про мужчин в таких случаях не говорят, что они мужчины. И сейчас кое-где, например, в полиции, запрещено говорить о женщинах-полицейских [Sasaki 2001: 231].

Но всё это касается официальной сферы, где правила можно изменить тем или иным решением. В неофициальной, особенно бытовой речи эти правила могут и не работать, с другой стороны, там могут распространяться всякие модные поветрия вроде *gyaru-toji*. Здесь, как говорилось выше, многие особенности мужской и женской речи устойчивы, тем более что эта устойчивость косвенно поддерживается через телевидение, рекламу и пр. В то же время идет постепенное расшатывание традиционных норм: даже такая в целом устойчивая черта как употребление только мужчинами местоимения *boku* может, хотя и не часто, нарушаться, особенно среди молодежи. Эндо Ориэ опросил 136 студентов, из них 19 признались, что употребляли это местоимение, а 61 (почти половина) заявили, что слышали его в женской речи [Endoo 2001b: 31–32]. Правда, большинство из них заявляли, что употребляли или слышали его у сверстниц не позже средней школы, то есть до 15 лет, а в этом возрасте норма бывает не до конца усвоена. Имеются и женщины, предпочитающие говорить по-мужски, чаще это опять-таки школьницы или студентки [Gottlieb 2005: 14]. Такая склонность может проявляться по-разному в разных ситуациях: нередко студентки избегают употребления модально-экспрессивных женских частиц вроде *wa* в университете, но сохраняют их в своей речи дома: там отход от традиций не поощряется [Sasaki 2000–2003, 2: 308]. Пишут о том, что речь женщин, говорящих по-мужски, расценивается как грубая [Suzuki 2001: 95] или как признак необразованности [Такака 2004: 205]. В то же время отмечают, что мужчине труднее перейти на женский вариант языка, чем женщине на мужской [Endoo 2001b: 31]. Впрочем, это может быть связано и с тем, что в женском варианте разговорного языка всегда будут заметные особенности, а мужской вариант может отличаться от «среднего» варианта без четких гендерных особенностей лишь местоимениями 1-го лица [Suzuki Ch. 2001: 97].

Границы варьирования того, что могут или не могут сказать мужчины или женщины, очень подвижны и достаточно быстро меняются. Иногда примером того, как никогда не может сказать женщина, считают модально-экспрессивную частицу *ze* [Suzuki Ch. 2001: 98]. Но указывают и то, что молодые девушки могут так сказать [Sasaki 2000–2003, 2: 308]. А мы слышали, как молодая мать сказала ребенку, пытавшемуся перелезть через высокий порог храма: *Takai ze* 'Высоко!'. Правда, это происходило не в Токио, а в Нара, где могли дей-

ствовать диалектные особенности. А, может быть, женщина так и сохранила в языке привычки своей юности?

Современные специалисты подчеркивают необратимость происходящих изменений [Sasaki 2000–2003, 2: 304; Kobayashi 2001: 137]. Кобаяси Миэко, в частности, считает необратимым переход от групповых и гендерных именовании людей к индивидуальным. А Сасаки Мидзуэ утверждает, что и дискриминация женщин излишне преувеличивается, особенно иностранцами; в качестве аргумента он приводит то, что сейчас женщине легче получить должность профессора [Sasaki 2000–2003, 2: 305]. Но многие обратные примеры звучат убедительнее. А нередко и японские традиции в отношении женщин считают не недостатком японского общества, а его достоинством. В третьей главе упоминалась книга братьев Фукуда, в ней, в том числе, сказано, что американская семья, где часто оба супруга работают, раздирается противоречиями из-за сходства социальных ролей и борьбы за первенство, а японская семья, где роли мужа и жена строго разграничены, гармонична. Прямо говорится, что японскую женщину уважают за то, что она – жена и мать, и ей нет необходимости работать [Fukuda 1990: 160–161].

Так что и сейчас японское общество может быть охарактеризовано как общество мужской ориентации (male oriented) [Tanaka 2004: 205]. Это проявляется и в языке, но нельзя ставить знак равенства между обществом и языком. Например, как указывает та же Л. Танака, женщина – руководитель может использовать властные стратегии, не отказываясь от традиционных форм женской речи [Tanaka 2004: 205]. А языковая дискриминация может происходить и бессознательно, без стремления к дискриминации иного рода: женщина может назвать себя «скромным» местоимением просто по привычке [Sasaki 2001: 231–232]. Тот же автор считает, что японским культурным традициям не соответствуют революционные идеи, в том числе и в языковой сфере, поэтому такие традиции могут оказываться устойчивыми [Sasaki 2001: 236]. Представляется, что Накамура Момоко и другие борцы за отмену гендерных особенностей в японском языке и японской речевой культуре при бесспорности многих их тезисов переоценивают сознательные процессы в развитии языка и недооценивают бессознательные. Многие женские и мужские языковые и речевые особенности действуют автоматически и неосознанно. Японские специалисты при всём разбросе подходов и точек зрения сходятся на том, что их устойчивость сохранится достаточно долго.

Глава 9

ЯПОНСКОЕ ПИСЬМО

9.1. Особенности японского письма

С давних пор в японской культуре существует особое внимание к письменному варианту своего языка. Из Китая в Японию вместе с иероглифами пришли и большое к ним уважение, и ощущение их эстетической значимости (искусство каллиграфии играет заметную роль в обеих культурах), и представление о культурной важности письменной речи по сравнению с устной. В прошлом, когда не существовало общего для всей Японии устного языка, идентификация элиты шла через письменность [Gottlieb 2005: 40]. Но и в недавние годы Сибата Такэси писал: в Европе слово — прежде всего нечто произнесенное, но для японца оно, в первую очередь, осознается как нечто написанное [Shibata 1990: 42]. И эти представления воспитываются у японцев с детства. Специалисты отмечают, что японские дети лучше и быстрее воспринимают визуальный компонент телевидения, а их американские сверстники более ориентируются на вербальный компонент и плохо реагируют на передачи без звука [Rolandelli, Sugihara, Wright 1992: 6–7]. При этом надо учитывать, что в визуальный компонент входят не только внеязыковое изображение, но также иероглифические тексты, роль которых на японском телевидении значительнее, чем в других странах. И иностранные наблюдатели замечают, что японцы, припоминая какое-нибудь слово, пишут пальцами в воздухе соответствующий иероглиф и лишь после этого произносят его чтение [Gottlieb 2005: 78]. И мы уже упоминали, что японцев особенно удивляет, если оказывается, что иностранец умеет не только разговаривать, но еще и писать на их языке.

Преобладающую роль в Японии визуальной информации отмечают и иностранные исследователи, хотя Дж. Стенлоу склонен счи-

тать, что она там хоть и велика, но не больше, чем в других современных странах [Stanlaw 2004: 144]. Но и иностранцу приходится считаться с особой ролью письменности в японском языке: обучение английскому языку начинается (несмотря на сложную орфографию) не с письма, а с фонетики, а обучение японскому языку всегда требует с самого начала учиться писать [Endoo 1995: 119].

Такое различие в преподавании иностранных языков связано, помимо всего прочего, и с привычными в той или иной культуре представлениями о соотношении между устным и письменным вариантами языка. В других языках, например, русском, чаще всего не признается никакого различия между устным и письменным текстом, если их жанровые и стилистические характеристики совпадают. Например, произнесение заранее написанного текста вслух рассматривается как простая его перекодировка. На самом деле и здесь это не так. Наиболее явный случай — инициалы. В любом письменном тексте от философского трактата до записки на лекции их употребление вполне нормально и стилистически не маркировано. Однако в устной речи их употреблять не принято (их использование здесь воспринимается либо как шутка, либо как плохое владение правилами). При чтении вслух письменного текста автоматически происходит либо опущение инициалов, либо их замена на полные имя и отчество. Есть и случаи, когда устное функционирование текста практически невозможно: сложные математические формулы могут не иметь полных устных эквивалентов, и часть информации выражается только на письме. Невозможно также в устной речи, даже при чтении вслух, адекватно передать различие между прямым шрифтом и курсивом, а в письменной речи — интонационные различия. Всё это не зависит от стиля и жанра. Отметим и редкие для русского языка сравнительно с японским, но всё более частые стилистические эффекты, связанные с написанием слов латинскими буквами (прежде всего заимствований). До недавнего времени всё перечисленное, однако, оставалось более или менее периферийным. Но теперь с распространением переписки по Интернету и SMS-сообщений ситуация меняется и в России, и, о чём мы дальше будем говорить, в Японии.

В русской и западной науке постоянно смешиваются два, вообще говоря, разных противопоставления: «устный — письменный» и «разговорный — книжный». Часто кажется, что особенности разговорного и устного вариантов языка — одно и то же; аналогично рассмат-

ривают книжные и письменные особенности. Но, как писал еще в 1962 г. М. В. Панов, «разговорный стиль чаще всего воплощается в устной речи (хотя не только в ней), а книжный — в письменной речи (однако не всегда именно в ней)» [Панов 2007: 151].

В Японии в период европеизации получили распространение западные идеи о вторичности письма по сравнению с устной речью, что сыграло роль в игнорировании вопроса о письменной норме в эпоху Мэйдзи [Gottlieb 2005: 44–45]. Но в Японии ситуация всегда была слишком явно иной, прежде всего, разумеется, в связи с иероглифическим письмом. Однако играют роль и формы вежливости (этикета), по-разному функционирующие в устной речи и на письме. Отметим, кстати, что и кириллическая, и латинская письменности являются, как и японская, смешанными иероглифо-фонетическими. Мы постоянно пользуемся иероглифами, то есть знаками, используемыми по значению, а не звучанию (в большинстве одинаковыми для кириллицы и латиницы), вроде *А*, *%*, *+* (см. верхний ряд клавиатуры пишущей машинки или компьютера, состоящий из иероглифов и знаков препинания). Однако соотношение двух способов графики, разумеется, совершенно иное.

В Японии можно постоянно наблюдать, как, например, письменный текст научного доклада, розданный участникам конференции, не вполне соответствует тому, что говорится с трибуны или кафедры. Термины — канго, записанные последовательностями иероглифов, заменяются в устном тексте либо описательными выражениями, либо гайрайго со сходным значением или даже синонимами английского языка: на слух это понятнее. В письменном тексте при изложении точки зрения какого-нибудь уважаемого ученого может не быть никаких форм вежливости, но при чтении текста эти формы почти обязательно добавляются: при устном общении правила этикета намного жестче. В устном тексте могут добавиться и не обязательные в письменном докладе этикетные формулы по отношению к слушателям. А если диктор (профессия, отнюдь не исчезнувшая на японском телевидении) читает новости, то в Японии принято их дублировать на табло или бегущей строкой. Однако тексты вовсе не идентичны: обычно устный текст новостей более развернут, письменный же текст сжат и содержит только главную информацию. Иногда, особенно при звучании прямой речи (интервью, пресс-конференция, трансляция парламентских дебатов), в письменном телевизионном

тексте опускаются и формы вежливости: опять-таки надо передать лишь важнейшую информацию.

Когда в Японии в 20-е гг. XX в. появилось радио, первоначально просто читали уже написанные тексты, например, статьи из газет. По-русски, как мы знаем, особых трудностей в таких случаях не бывало, а некоторые изменения вроде перекодировки инициалов проходили автоматически. Но в Японии, где в первой половине XX в. газетные тексты отличались сильно выраженной книжностью с громадным количеством канго, эти статьи невозможно было адекватно воспринять на слух. И часто радиовещание оказывалось неэффективным (надо также учитывать, что в то время письменным вариантом литературного (стандартного) языка в Японии владели много лучше, чем устным). Рассказывают, будто 15 августа 1945 г., когда император Хирохито выступил по радио (впервые в истории страны) с заявлением о капитуляции, то многие слушатели его не поняли, а некоторые даже решили, что он объявляет о победе в войне [Loveday 1996: 298].

После войны нашли способы устно передавать ранее записанную информацию так, чтобы она была понятнее (очень здесь помогают гайрайго, хотя тут при малом фонетическом непонимании может возникнуть семантическое). И всё-таки бóльшая, чем в России или западных странах, роль письменной информации на телевидении показательна. Не раз нами упоминавшийся Судзуки Такао высказал идею о том, что японский язык хорошо приспособлен к телевидению, поскольку там имеются помогающие друг другу два канала коммуникации, и хуже приспособлен для радио [Suzuki 1987b: 132]. А теперь на телевидении и радио встает другая проблема: читаемые вслух тексты кажутся слишком гладкими и мешающими созданию атмосферы непринужденности между диктором или тележурналистом и зрителями. Поэтому их, по-прежнему читая вслух, заранее на письме препарируют, специально вводя шероховатости и даже оговорки.

Теперь рассмотрим строение самой японской письменности. Для иностранного наблюдателя японская письменность кажется исключительно сложной. В любом японском письменном тексте присутствуют иероглифы, еще в древности заимствованные из Китая (есть и знаки, изобретенные в Японии, но их немного), две исконно японские слоговые азбуки — хирагана и катакана, а в значительном числе текстов также и латинское письмо.

Вот, например, фрагмент текста из журнала «Мэторо-нюсу» (Metro News), № 129, 1985:

SUBWAYS' 85. Kamera.repo. Repo.raitaa. Yamamori Miyuki san. Tsuuyaku, Choojutsugyoo, shufu 'Метро 85. Фоторепортаж. Автор репортажа Ямамори Миюки. Переводчик, литератор, домохозяйка'.

В коротком тексте имеется сразу несколько видов письма. Фамилия Ямамори и названия профессий написаны китайскими иероглифами, имя Миюки и вежливый именной показатель *san* — хираганой, заимствования из английского *kamera.repo* 'фоторепортаж' и *repo.raitaa* 'автор репортажа' — катаканой, еще одно заимствование *subways* 'метро' — латинскими буквами, номер года — европейскими (так называемыми арабскими) цифрами.

Кроме того, используются не только европейские, но и китайские цифры; на периферии системы письма, помимо всего перечисленного, встречаются другие, нестандартные виды японской азбуки (так называемая хэнтайгана), исключенные из хираганы и катаканы в 1946 г. знаки, старые написания иероглифов и их написания, принятые в современном Китае (китайские собственные имена теперь принято унифицировать с китайскими или тайваньскими нормами). Японский текст может писаться либо вертикально справа налево, либо горизонтально слева направо, либо (сейчас редко) горизонтально справа налево. Разумеется, иероглифы сложно писать, а количество их очень велико, хотя из почти 50 тысяч иероглифов, когда-либо употреблявшихся в Японии, до наших дней дожили далеко не все. При подготовке самого большого в Японии толкового словаря хотели использовать 12 тысяч знаков, но потом из-за полиграфических сложностей обошлись 9 тысячами [Kurashima 1997, 2: 28]. Но даже в современном (с 1981 г.) иероглифическом минимуме, который учат в средней школе (о нём будет сказано ниже), 1945 знаков (или 2229 знаков, если учитывать дополнительные списки), реально их употребляется более чем в два раза больше, а школьный минимум (иероглифы специально изучаемые в начальной школе) сейчас включает 1006 знаков. Такое письмо даже сложнее китайского, где только иероглифы, к тому же в Японии, в отличие от Китая, большинство знаков имеет несколько чтений — чаще всего два или три, а иногда более десятка.

Безусловно, для иностранного (прежде всего европейского или американского) наблюдателя такая система письма выглядит исклю-

чительно сложной. «Китайская грамота» давно у нас стала символом неимоверной сложности и непонятности чего-либо. Один наш китаист в 20-е годы всерьез писал, что иероглифы могут выучить лишь богатые бездельники – «джентри», у которых много свободного времени, хотя в Японии, где письменность еще сложнее, тогда неграмотность уже была ликвидирована.

Однако есть и другие отзывы о японском письме и извне, и изнутри. Японский социолингвист Ямада Дзюн в 80-е гг. XX в. удивлялся данным тестов, согласно которым американские школьники лучше успевали по родному языку, чем их японские сверстники. Это казалось ему странным, поскольку латинская письменность очень сложна, а японская (очевидно, рассматриваемая без учета использования в ней латиницы) естественнее [Yamada 1984: 84]. А еще в 1913 г., когда число иероглифов было значительнее, чем сейчас, наш виднейший японист Н. И. Конрад писал: «Именно эта жизненность и практичность, полное соответствие с действительной и постоянной необходимостью и составляет характерную черту обучения иероглифической письменности в начальной школе», отмечая при этом, что грамотность достигла в Японии 98 % [Конрад 1913: 32] (в России до этого было еще далеко).

В чем тут дело? Почему столь сложное для нас письмо не кажется таким самым японцам и довольно легко усваивается в школе? Почему многочисленные проекты перехода японского языка на латинское письмо или на слоговую азбуку никогда всерьез не осуществлялись (хотя есть версия, согласно которой американская оккупационная администрация после 1945 г. планировала такой переход)? И оказывается, что иероглифическая письменность может иметь не только очевидные минусы, но и плюсы, которые мы далее рассмотрим.

9.2. Иероглифы в современном мире

Рассмотрим несколько примеров. Вот плакат ко Дню леса, где на целом листе помещено множество одинаковых иероглифов со значением «лес». Зритель сразу понимает, о чем плакат, хотя полученная информация требует уточнения. При этом неясно, даже как читать приведенный иероглиф: он имеет два стандартных чтения *rin* и *hayashi*. Но здесь это неважно, важна лишь семантика. На аналогичном плакате, посвященном марафонскому забегу, помещен только один иероглиф со значением «бег», который также имеет несколь-

ко чтений. Но если иероглиф «лес» может употребляться изолированно, то иероглиф «бег» всегда требует после себя либо знаков хираганы, обозначающих окончание слова, либо других иероглифов. Однако здесь и это неважно, важно лишь эмоциональное воздействие на читателя.

Любому носителю русского языка известен стандартный текст, состоящий из одного предложения: *Во дворе злая собака*. В японском языке соответствующая информация передается одним иероглифом со значением «собака». Этот знак состоит из трех черт и одной точки и не сложнее по начертанию, чем буква кириллического или латинского алфавита. Экономия очевидна.

А вот однословная фраза из предвыборного плаката кандидата в токийский муниципалитет, читаемая *keidaisotsu*. На слух это слово абсолютно непонятно. Но человеку, владеющему иероглифами, легко догадаться, что первый иероглиф — начальный иероглиф слова *Keioo* — название престижного университета в Токио, второй иероглиф начинает слово *daigaku* 'университет', третий — слово *sotsugyoo* 'окончание (учебного заведения)'. Следовательно, последовательность из трех иероглифов эквивалентна целой фразе со значением «окончил университет Кэйо». Столь компактно соответствующая информация не может быть передана ни устно, ни в записи азбукой.

Такие «ударные» иероглифы важны, когда текст надо либо воспринять в условиях дефицита времени (так происходит на телеэкране), либо запомнить быстро и сразу (это свойственно рекламе). Рекламные плакаты, световая реклама, заголовки газет и журналов — всё это состоит, как правило, только из иероглифов. Часть информации при этом может опускаться (прежде всего, грамматическая), но основной смысл сообщения бывает ясен.

Иероглифы помогают еще в одном отношении. Многие книжные слова, особенно китаизмы, непонятны или мало понятны на слух. А иероглифическое написание дает возможность их если не прочитать, то хотя бы понять. В иероглифической записи соответствующие тексты не вызывают сложностей для понимания. Многие научные тексты и сейчас затруднительно понимать на слух, тогда как при иероглифической записи трудностей с их восприятием не возникает. Даже в устной беседе иногда прибегают к записи некоторых важных, но мало понятных на слух слов. И дело даже не только в омонимии: можно не знать слово, но понять его значение из значений составных иероглифов. А на телевидении, как уже упоминалось,

наиболее существенная информация часто дублируется в письменном виде. При этом соответствующие устный и письменный текст могут не быть идентичны. Например, в телепередаче о замке в городе Нагоя этот замок записывался на экране двумя иероглифами, которые в данном случае читаются *tei* и *joo*. Первый из них – первый из иероглифов, которыми записывается название города, второй значит ‘замок’. Однако вслух произносили *nagoyajoo*.

Почему происходят подобные замены? С одной стороны, *nagoyajoo* гораздо понятнее на слух, чем *tei joo*, оно сразу опознается как связанное с названием города *Нагоя*. С другой стороны, записать иероглифами *nagoyajoo*, конечно, можно, но эта последовательность пишется четырьмя знаками, что неэкономно. Название города пишется тремя иероглифами, но первый из них часто выступает как представитель всего слова.

Надо также учитывать, что иероглифы – вовсе не цельные картинki, как это может показаться человеку, их не знающему. Иероглифы состоят из стандартного набора элементов, которые были в Китае каталогизированы еще в древности (не позже II века н. э.). Формирование сложного письменного знака из готовых блоков дает при письме большую экономию. При чтении же, по-видимому, возможна двоякая стратегия. Хорошо знакомый иероглиф может восприниматься как цельная «картинка», но при восприятии менее известных знаков помогает знание их структуры. Если же иероглиф неизвестен совсем, то такое знание поможет справиться в словаре. Кроме того, некоторые знаки включают в себя компоненты, позволяющие до определенной степени понять их значение. Например, большинство иероглифов, обозначающих птиц и рыб, включают в себя компонент со значением ‘птица’ или ‘рыба’; читатель, не зная сам иероглиф, может хотя бы понять, что речь идет о какой-то птице или какой-то рыбе. Как указывает Н. Готтлиб, в начальной школе, где уже с первого класса вводят самые простые иероглифы, им сначала обучают как «картинкам», но уже с третьего класса начинают рассказывать об их структуре [Gottlieb 2005: 83].

Следует, наконец, сказать и о чтениях иероглифов. Когда-то (в V–VIII вв. н.э.) иероглифы пришли из Китая в Японию вместе со своими чтениями (подвергшимися фонетическим изменениям); из этих чтений составилась многочисленный слой лексики китайского происхождения, о котором уже говорилось выше. Но иероглифы были приспособлены и для написания собственно японских слов и

корней, подходивших по смыслу. Поэтому большинство иероглифов имеет (хотя бы потенциально) как минимум два чтения: китайское (*он*) и японское (*кун*). Например, выше упоминался иероглиф со значением «лес», его китайское чтение — *rin*, японское — *hayashi*. А поскольку китайские чтения иероглифов заимствовались в разное время из разных диалектов, а одним и тем же иероглифом могли записываться разные японские слова с одинаковым или сходным значением, то чтений может быть и еще больше. При упрощении системы письма в послевоенные годы исключались и редкие чтения, но, безусловно, полностью избавиться от множественности чтений иероглифов невозможно, что приводит к затруднениям в понимании. Особенно большие сложности вызывают собственные имена, где разночтения очень значительны. Например, одно и то же сочетание двух иероглифов в качестве личного имени может читаться *Masaji*, *Shooji*, *Seiji*, *Masaharu*. И нередко в письменном тексте определение чтения затруднительно, хотя и не приводит к полному непониманию. Примеры с плакатами приводились выше. В таких случаях письменный текст приобретает независимость от устного.

Очень большую роль в японской культуре играет игра слов, использование стилистических эффектов, создание поэтических образов в связи с использованием японской письменности, особенно иероглифов. Об этом подробнее можно прочитать в книге Е. В. Маевского [Маевский 2000], самом значительном исследовании письменности в нашей японистике. Приведем лишь несколько иллюстраций.

На обложке журнала «Гэнго» («Язык») в 2001 г. была напечатана фраза, в которой вслед за *kore wa* 'это' шел иероглиф со значением 'читать' и связка *desu*. В данном контексте иероглиф, видимо, должен читаться по-китайски *doku*. Но *doku*, обычно пишущееся другим иероглифом, значит 'яд'. То есть фраза может читаться двояко: *Это — чтение, Это — яд* (в номере обсуждаются нежелательные последствия, которые может вызывать чтение) [Stanlaw 2004: 143–144]. Другой автор отмечает игру, основанную на сходстве иероглифов, иногда также их чтений. Приводятся примеры из рекламы: *Mizu ga aru koori ga aru* 'Есть вода, есть лед' (иероглифы для воды и льда очень похожи), *Hi ga aru hito ga aru* 'Есть огонь, есть человек' (иероглифы для огня и человека сходны, а соответствующие слова похожи и звучанием) [Моеган 1989: 75].

Считается, что в Японии с конца эпохи Мэйдзи была достигнута практически полная грамотность (абсолютной грамотности нет ни в

одном обществе, во-первых, из-за маленьких детей, во-вторых, из-за олигофренов). При этом к неграмотным приравниваются в Японии люди, владеющие только каной. Но это не значит, что любой современный японец знает 48 902 иероглифа, которые когда-либо употреблялись за всю историю Японии [Капа 1983: 7], или хотя бы все иероглифы, которые встречаются на практике. В Японии с 1948 г. проводятся регулярные исследования владения письменностью, устраиваются конкурсы, в том числе по телевидению. Оказывается, что большинство японцев не владеет даже всеми иероглифами минимума и тем более не всеми знаками, которые можно встретить, например, в газете. Считается, что абсолютно грамотными можно признать лишь 6,2 % населения Японии [Gottlieb 2005: 91]. В одном из телевизионных конкурсов даже бывший министр просвещения справился не со всеми заданиями. Но в подавляющем большинстве ситуаций незнание не приводит к серьезным жизненным неудачам: непонятные знаки могут восприниматься на основе контекста, а в случае необходимости можно всегда справиться в словаре, которым средний японец умеет пользоваться и который нередко носит с собой; теперь распространились и компьютерные словари. Надо учитывать и то, что навыки чтения иероглифов выше, чем навыки их письма. Однако известный австралийский (в прошлом чехословацкий) японист Й. Неуступны указывал, что до 10 % японцев имеет проблемы с чтением документов [Gottlieb 2005: 92].

Отменить иероглифы уже более столетия предлагали в разные эпохи и в самой Японии, и за ее пределами. Особенно много об этом говорили в эпоху Мэйдзи, а затем в послевоенные годы. Однако реально ничего для этого никогда не делалось. Изменение системы письма привело бы к очень большим изменениям во всём языке и во всей культуре. Впрочем, в XX веке две страны, в прошлом входившие в китайский культурный ареал, перестали употреблять иероглифику. Это Вьетнам при господстве французов и КНДР при Ким Ир Сене; в Южной Корее использование иероглифов более ограничено, чем в Японии: там ими пишут лишь слова, аналогичные японским канго. Весь этот опыт показывает, что в определенных исторических условиях отмена иероглифической письменности возможна. Однако в Японии (как и в Китае) ничего подобного не произошло. Американская оккупационная администрация планировала в целях демократизации поэтапно отменить иероглифы, заменив их сначала каной, а потом латинским алфавитом [Kai 2007: 85; Gottlieb 2005:

63]. Но в итоге не стали заходить так далеко, а в нынешний сравнительно стабильный период тем более ничего здесь произойти не может.

Отдельные авторы и в наши дни могут считать, что архаичная система письма затрудняет выход Японии на мировую арену. Об этом, в частности, писал в 1990 г. известный японский монголист и социолингвист профессор Танака Кацухико, автор многих книг по самой разной тематике от эсперанто до работ И.В. Сталина по национальному вопросу и языкознанию [Nihongo 1990, 3: 4–9]. По его мнению, даже недостаточное использование иены в качестве мировой валюты объясняется тем, что на японских денежных купюрах изображены мало кому понятные знаки. Он также заявлял, что интернационализация не может ограничиться элитой, в процесс изучения японского языка вовлекаются широкие слои населения, а современному человеку нельзя тратить много времени на изучение иероглифов, так как образованность требует теперь других знаний. Здесь аргументация профессора начинает напоминать доводы советских японистов и китаистов 20–30-х годов. Но это лишь личное мнение автора. Сейчас такие предложения всерьез не рассматриваются: иероглифы слишком привычны и имеют преимущества.

После войны пошли по другому пути: иероглифы сохранились, но в 1946 г. был введен так называемый иероглифический минимум, первоначально включавший 1850 знаков. Рекомендовалось употреблять только эти иероглифы, в целом наиболее частотные, их учили в средней школе; а вместо знаков, в минимум не вошедших, предлагалось использовать либо хирагану и/или катакану, либо иероглифы, сходные по звучанию и значению, если такие есть. Реально шире стали употребляться и синонимичные гайрайго. Помимо этого, написание ряда иероглифов было упрощено, что, кроме всего прочего, отдалило японскую письменность от китайской и разрушило существовавшее более тысячелетия единство иероглифического ареала: в Китае позднее также упростили написание многих иероглифов, но иначе, а на Тайване иероглифы до сих пор пишут по-старому. Также сократили число чтений иероглифов.

Упрощение написаний иероглифов вполне прижилось. Старые написания встречаются редко, если отвлечься от переиздания старых книг, где нередко написания оригинала сохраняются. Впрочем, есть люди, которые продолжают писать по-старому свои фамилии и/или имена. Скажем, в Киото и в 2007 г. владелец дома на табличке

перед входом писал первый иероглиф своей фамилии *Hiroi* так, как сейчас уже обычно не пишут. Иногда старые написания, видимо, выглядят как более «солидные». В световой вывеске университета Хосэй (*Hosei-daigaku*) в Токио иероглиф со значением 'учение, наука' и с чтением *gaku*, входящий в состав слова *daigaku* 'университет', пишется по-старому. Но всё-таки это исключение, а не правило.

Несколько иначе сложилась ситуация с иероглифическим минимумом. Нельзя сказать, что его введение не дало результатов. Многие отмечают, что возврат к старому невозможен, а японцы не могут уже свободно читать литературу начала XX в. [Neusцrпу 1978: 271; Mizutani 1981: 7]. В связи с тем, что забыты иероглифы, забыты и многие еще недавно употребительные слова. Однако реально в книгах, газетах и журналах всегда употреблялось большее число иероглифов по сравнению с минимумом. Скажем, в ведущих газетах за 1966 г. было зафиксировано 3313 иероглифов, примерно в 1,7 раза больше, чем в тогдашнем минимуме [Imai 1980: 26]. А в редакции газеты «Асахи» имеется около 5 тысяч знаков, которые могут использоваться хотя бы потенциально. В переизданиях довоенной литературы постоянно меняют орфографию каны и реже написание иероглифов, но всегда сохраняют иероглифы, не вошедшие в минимум. Первоначальный список минимума особенно явно был недостаточен для написания многих собственных имен. В 1946 г. решили, что не следует включать в него те иероглифы, которые целиком или преимущественно используются в топонимах или антропонимах. Но во многих случаях эти слова реально никогда не меняли написания, что создавало расхождение между нормой и реальным обиходом. Многие критики минимума указывали на его непоследовательность и нелогичность. Например, спрашивали: «Почему иероглиф со значением 'собака' вошел в минимум, а иероглиф со значением 'кошка' — нет?» [Nishitani, Каппо 1977: 22].

Уже с 50-х гг. минимум стал изменяться, в основном в сторону расширения. Сначала его дополнили списком иероглифов, допустимых в собственных именах, а в 1981 г. состав минимума был официально пересмотрен. Кое-какие знаки исключили: например, в 1946 г. решили оставить иероглифы для слов, обозначающих традиционные японские меры, но к 1981 г. эти меры уже были полностью вытеснены метрическими, и нужда в иероглифах для них отпала. Но гораздо больше иероглифов было добавлено (в том числе и знак для кошки, и ряд знаков, частых лишь в собственных именах). В итоге

минимум достиг 1945 знаков. Именно их должны знать выпускники средней школы после девятого класса [Gottlieb 2005: 82]. В 1990 г. появился дополнительный список из более четырехсот иероглифов, допустимых для собственных имен. Реально эти иероглифы никогда не выходили из употребления. Например, по нашим наблюдениям, в токийском метро название станции *Kayabachoo* всегда писалось одними и теми же тремя иероглифами, хотя первый из них был допущен в минимум лишь в 1990 г., и то только в дополнительный список.

Периодические изменения минимума рекомендуемых иероглифов, как и другие частные изменения нормы, вызывают критику, в том числе даже политического характера (расширение минимума в 1981 г. связывали со сдвигом правительственного курса вправо [Ut-sukushii 1981]), но в целом принимаются большинством общества.

Нельзя думать, что норма окончательно сблизилась с обиходом: отмечают, что даже в школьных хрестоматиях, где соблюдение минимума имеет обязательный характер, имеются отклонения от него [Umezū 1983: 160]. Недавно этот вопрос специально рассмотрен в статье [Takada 2007], где рассмотрено написание разных слов в пяти изданных в 2005 г. учебниках для средней школы. Оказалось, что там расходятся и степень следования минимуму, и соотношение между иероглифами и хираганой.

Но в целом иероглифический минимум всё-таки действует, что показало уже упоминавшееся массовое обследование языка 70 японских журналов за 1994 год, см. [Ogura, Aizawa 2007]. Все встречавшиеся в журналах иероглифы были распределены по частотности. Оказалось, что среди 200 самых частых знаков все входят в минимум 1981 г., но уже в третьей сотне есть два знака, им не предусмотренных: оба они нечасты вне собственных имен, но распространены в топонимах и антропонимах. Один, обычно читающийся как *ока*, используется в названиях трех префектур Японии (Окаяма, Сидзуока, Фукуока) и одноименных городов, — их центров, част он и в фамилиях. Второй, имеющий японское чтение *фуџи* и китайское чтение *тоо*, входит в состав массы фамилий, в том числе и известных исторических деятелей (Того, Тодзио, Сато, Фудзивара). Гора Фудзи пишется иначе. В четвертую сотню входит всего один иероглиф, не входящий в минимум 1981 г., читающийся как *сака*; он исключительно част в составе названия второго по величине города Японии *Осака*. Поскольку он практически не используется вне топонимов, в 1946 г.

рекомендовалось писать вместо него более частый иероглиф, тоже читающийся *saka* и сходный по написанию. Но это не прижилось, и реально независимо от списка минимума название города (и одноименной префектуры) всегда писалось традиционным способом. То есть все три частотных иероглифа вне основных списков преимущественно употребляются в собственных именах и входят в дополнительные списки. А в пятой сотне по частотности таких иероглифов вновь нет. Таким образом, 497 из 500 самых частых иероглифов в минимум включены, что как раз показывает его действенность.

Далше число употребительных иероглифов вне минимума медленно растет: в шестой сотне их 3, в седьмой 1, в восьмой 2, в девятой 3, в десятой 3, итого всего 15 в первой тысяче, зато во второй тысяче их уже 248, в том числе в двадцатой сотне (напомним, что в минимуме 1945 иероглифов) их 61 [Ogura, Aizawa 2007: 129]. В целом во всей первой тысяче преобладают иероглифы, характерные для собственных имен: скажем, в шестой сотне два из трех иероглифов встречаются, прежде всего, в частотных топонимах Нара (*na*) и Исэ (*i*). Самым частым из иероглифов иного рода оказывается третий входящий в шестую сотню иероглиф *koro/goto* 'время; приблизительно', не включенный в минимум, видимо, потому, что эта единица, вступающая и как грамматический элемент, часто пишется хираганой.

Оказалось, правда, что 17 из 1945 иероглифов минимума не встретились в журналах [Ogura, Aizawa 2007: 130]. Но одна из целей исследования лексики журналов — как раз дальнейшее совершенствование минимума.

Не до конца удачным оказалось и сокращение чтений иероглифов: многие отмененные чтения продолжали употребляться, что привело к увеличению числа чтений, признанных допустимыми [Yoshimura 1981: 50]. В том же исследовании лексики журналов отмечены написания, которые требуют не принятых стандартом чтений, причем японских чтений такого рода больше, чем китайских [Ogura, Aizawa 2007: 133–134]

Современная система японского письма в целом стабильна с 50-х гг. XX в. Главный новый фактор, возникший после этого, — компьютеризация. Хотя первые вычислительные машины в Японии появились вскоре после войны, но серьезным фактором жизни она стала с первой половины 80-х гг. Первоначально многим, особенно наблюдателям вне Японии, казалось, что она может привести к переводу японского письма на латиницу или хотя бы на хирагану. Этого,

однако, не произошло. Удалось совместить традиционное японское письмо с современными средствами передачи информации. Оказалось даже, что компьютеризация решила ряд проблем, вызывавших трудности на более ранних этапах развития техники. В эпоху пишущих машинок так и не удалось хорошо приспособить их к иероглифическому письму (японские и китайские машинки представляли собой упрощенные типографские машины, а процесс работы на них был весьма медленным), в те годы в Японии документы в отличие от Европы и Америки часто писали от руки. Но на получивших распространение с начала 80-х гг. компьютерах (как мы отмечали выше, именуемых в Японии *waafuro* или *pasokon*) текст набирается с помощью клавиатуры, где имеются лишь знаки латиницы и/или хираганы (сейчас чаще используются оба этих алфавита). В компьютер заложена программа, в соответствии с которой запись азбукой автоматически преобразуется в стандартную запись японским смешанным письмом. При этом в 3–4 % случаев случаются ошибки, связанные с неправильным распознаванием омонимов; однако пользователь, зная правильное написание, может исправить ошибку.

К 1986 г. на такие *waafuro* перешло 90 % японского бизнеса, а к 1991 г. ими владела четверть японских семей [Gottlieb 2005: 123]. С тех пор компьютеризация продвинулась еще дальше. И развитие компьютеризации значительно повлияло на функционирование японской письменности, особенно иероглифов.

Еще в начале компьютерной эры многим казалось, что новая техника приведет к стандартизации японской письменности во всех отношениях [Gottlieb 2005: 128]. Безусловно, что-то из старых привычек, связанных с письмом от руки, уходило, прежде всего индивидуальность почерков [Gottlieb 2005: 126–127]. Это вызывает недовольство, особенно у людей старшего поколения, жалующихся, что теперь на *waafuro* пишут и личные письма, и даже поздравительные открытки, хотя существовало целое искусство их написания (точнее, во многом рисования); теряется даже привычка красиво писать свое имя [Toyama 2005: 22–23]. Но предположение, что при переходе на компьютеры станут писать иероглифы только в соответствии со стандартами, не подтвердилось. Оказалось, что, наоборот, каждый пишущий старается использовать те знаки, к которым имеет склонность. Возродилось употребление ряда уже забытых иероглифов, не вошедших в минимум, начали писать иероглифами то, что уже привыкли писать хираганой; иногда в текстах среди всех знаков

процент иероглифов стал доходить до 60–70, что вдвое превосходит средние нормы в печатных СМИ [Gottlieb 2005: 129–130]. Но та же Н. Готтлиб считает, что в 80-е гг. и в начале 90-х гг. всё это было проявлением моды, которая сейчас уже преодолевается [Gottlieb 2005: 129].

Коммерческий Интернет появился в Японии с 1993 г., но активное развитие получил с конца 90-х гг., и сейчас им пользуется более половины японцев [Gottlieb 2005: 134]. Его использование и распространение SMS-сообщений, как и в других странах, приводят к появлению нестандартных видов письма, распространенных у молодежи, особенно у девушек, о чем мы писали в предыдущей главе. Например, составные части иероглифов могут писаться как отдельные знаки, меняется графический их облик, в итоге создаются особые коды, понятные лишь посвященным [Gottlieb 2005: 98] (в России сейчас бывает нечто похожее). И японские специалисты отмечают, что в наше время в мире, включая Японию, резко усилилась роль письменной коммуникации, и она не только книжная, в ней всё больше разговорных черт [Endoo 1995: 69].

Итак, и в компьютерную эпоху иероглифическая письменность оказалась вполне удобной для использования. Оказалось, что компьютеры сохранили преимущества иероглифической записи, но компенсировали часть ее недостатков. Современный японец не должен тратить много времени на написание сложных иероглифов и может даже не уметь их писать абсолютно правильно. Важно лишь знать общий облик знаков и уметь их распознавать.

Престижность иероглифики сохраняется в японской культуре и в наши дни. Вот лишь один факт. Как сказано в газете «Daily Yomiuri» за 22 ноября 2007 г., ежегодно проводятся конкурсы не только на слово года, как в США, но и на иероглиф года.

9.3. Хирагана и катакана

Но зачем, помимо иероглифов, нужны еще хирагана и катакана? Как уже упоминалось, эти азбуки устойчиво функционируют с начала X в. до наших дней, хотя их функции менялись. Другие виды каны (обобщаемые в термине *hentaigana*) использовались до XX в. и изредка встречаются даже до сих пор.

Две основные слоговые азбуки имеют по 46 (в недавнем прошлом 48) знаков, взаимно соответствующих друг другу, но различающихся начертанием. Впрочем, с XX в. появились некоторые несоответ-

ствия между азбуками: в связи с попытками передать катаканой произношение гайрайго, более точно соответствующее американскому оригиналу, там встречаются некоторые знаки или их устойчивые сочетания, которых нет и никогда не было в хирагане [Stanlaw 2004: 83–88]. Но это всё же периферия японской письменности.

Обучение грамоте в Японии всегда начинается с каны, но если раньше начинали с катаканы, так как считалось, что она проще, то теперь начинают с хираганы ввиду ее большей распространенности. Сейчас, хотя в детских садах обучение грамоте не предусматривается, большинство детей уже там осваивает хирагану [Gottlieb 2005: 81]. В первом классе необходимо освоить обе азбуки, вместе с которыми изучается лишь несколько простейших иероглифов.

Катаканой, как уже упоминалось в главе 6, пишут заимствования последних веков, чаще всего из американского варианта английского языка (в этой функции может использоваться и латинский алфавит). Хираганой же пишутся грамматические окончания слов, служебные слова, слова с наиболее общим значением (местоимения и пр.). Такая функция хираганы с XIX в. господствует и оказывается очень удобной. Сейчас к ней добавилась еще одна функция. Если слово или корень пишется иероглифом, не вошедшим в минимум и мало употребительным, то он часто (хотя не в ста процентах случаев) заменяется знаками хираганы. В примере, приведенном в начале главы (9.1.), имя *Миюки*, традиционно пишущееся редкими иероглифами, записано хираганой (фамилия здесь записана широко известными иероглифами, входящими в минимум). Тут же мы видим и пример традиционного использования хираганы: запись ею именного показателя *сан*. В рекламе, заголовках и пр. хирагана часто опускается вместе со всей грамматической информацией, тогда как катакана неустраима (кроме как заменой на латиницу), если требуется употребить гайрайго.

Функции катаканы не сводятся исключительно к написанию заимствований. В послевоенных реформах было рекомендовано писать именно катаканой названия животных, растений, междометия, звукоподражательные и образоподражательные слова независимо от происхождения; это правило действует не вполне строго, но катакана в этой функции часто встречается. Речь не идет о наиболее распространенных названиях, например, домашних животных и культурных растений, но уже, например, *tako* 'осьминог' всё чаще пишут катаканой, и это ваго, как и ряд других терминов флоры и фауны воспринимается как гайрайго [Kurashima 1997, 2: 127]. Катаканой писали те-

леграммы, пока они в Японии существовали [Gottlieb 2005: 79–80]. Иногда ей пишутся не только иностранные, но и японские фамилии и имена.

В стилистических целях, для создания американского колорита катаканой может писаться любое слово (кроме разве что слов с грамматическим значением). Нам пришлось видеть, например, рекламу автомобилей «Тоёта», где слово *toyota* (от названия японского города) также писалось катаканой. Иногда и японские слова, без которых невозможно обойтись, пишутся катаканой. В оптических магазинах все ценники пишутся таким образом, включая старое ваго *tegane* ‘очки’. В витринах магазинов нам даже приходилось видеть написанным этой азбукой слово *en* ‘иена’. Трудно представить себе японца, который бы не знал соответствующий иероглиф, но «имидж» магазина требовал по возможности всё писать катаканой.

Катакана в целях стилизации может встретиться где угодно: для шуток и игры слов нередко используется не только нарушение стандарта в написании иероглифов, но и все виды японского письма. Выше говорилось об «ударных» иероглифах, но может быть и «ударная» кана, особенно катакана, хорошо заметная на фоне иероглифов и хираганы. На плакате, предупреждающем об осторожности в связи с ремонтными работами, слово *abunai* ‘опасно’ было записано катаканой. Хотя это ваго, но на него требовалось обратить внимание. А вот пример, приведенный в ведущем японском лингвистическом журнале [Gengo, 2007, 11: 159]. Публикуются фотография рекламного плаката, где крупными буквами выделена фраза: *Nihon wa, Kansai de aru*. Слово *Kansai* ‘Кансай (район Киото-Осака)’ написано иероглифами, грамматические показатели, как положено, хираганой, но выделяется написанное катаканой *nihon*. Такого гайрайго нет, а среди нескольких омонимичных канго, прежде всего, разумеется, читатель вспомнит *nihon* ‘Япония’. Такая фраза буквально значит: *Япония есть Кансай*, что странно. Но если обратиться к части рекламы, записанной мелким шрифтом, выясняется, что это не ‘Япония’, а омоним со значением ‘два предмета цилиндрической формы’ (разумеется, пишущийся иероглифами по-другому). Пример иллюстрирует сразу две особенности текста, записанного каной: он часто оказывается неоднозначен, но эта неоднозначность может быть специально использована. В данном случае это рекламные цели: читатель плаката, увидев крупно написанную странную фразу, удивится и задержит внимание, прочтя и мелкий шрифт. Возможно в определенных ситуации-

ях и параллельное написание двумя и тремя способами одних и тех же слов. На плакате во время кошачьего шоу слово *neko* 'кошка' было параллельно записано иероглифом, хираганой и катаканой. «Ударной» бывает и хирагана: в заголовке книги [Suzuki 2006] бросается в глаза *chikara* 'сила', записанное хираганой, а не иероглифами, как обычно.

С другой стороны, реже встречается и обратное: гайрайго пишется иероглифами или хираганой. Для некоторых давно (не позже XIX в.) заимствованных слов это может быть нормативным: *koohii* 'кофе', *tabako* 'табак' стандартно пишутся иероглифами. Но возможны и окказиональные употребления. *Cutlet* 'котлета' заимствовано в виде *katsuretsu* в начале XX в., когда заимствования уже принято было писать каной. Но это слово, ныне обычно функционирующее в сокращенной форме *katsu*, уже может восприниматься как японская реалия. И мы видели это слово (*katsu*), записанное хираганой. Как пишет Дж. Стенлоу, и вкрапления чистого английского языка могут писаться не только латиницей: катаканой их пишут в учебных целях, иероглифами в шутку, пример хираганы привести трудно [Stanlaw 2004: 150].

Использование каны может усиливать неоднозначность, но может использоваться и для снятия омонимии. В 90-х гг. реально давно уже слившиеся два города Урава и Омия объединились и административно. Первый из них был центром префектуры Сайтама, и так же называли объединенный город. Но если название префектуры и сейчас пишут двумя иероглифами, то имя нового города в отличие от нее — хираганой.

Еще одна функция каны — так называемая фуригана: сбоку от иероглифа при вертикальном письме или сверху от него при горизонтальном пишут кану (используют обе азбуки, но чаще хирагану, а в книгах для маленьких детей хирагана может стать фуриганой для катаканы). Таким образом, поясняется, как надо читать данный иероглиф, обычно не очень известный или имеющий несколько чтений (а в детских книгах и иногда в комиксах чуть ли не каждый иероглиф снабжается фуриганой). Например, одним и тем же иероглифом пишутся местоимения 1-го лица *watakushi* и *watashi*, и в титрах по телевидению над иероглифом надписывается чтение. Но фуриганой может писаться и другое, обычно синонимичное слово, в том числе гайрайго, опять-таки это делается для стилистического эффекта или игры слов.

Перераспределение функций между видами японского письма может расширять его выразительные возможности. А использование какого-то одного из этих видов или даже сильный перекоп в его сторону затрудняет понимание текстов. Хотя камбун существовал больше тысячи лет, но для его реального функционирования нужно было дополнить чисто иероглифическую запись значками, которые графически отличались от хираганы, но функционально играли соответствующую роль грамматических указателей. Текст с сильным преобладанием катаканы с трудом осмысливается, хотя в функции создания имиджа он может использоваться эффективно. А тексты на чистой хирагане, возможные во времена «Повести о Гэндзи» и «Записок у изголовья», когда язык был другим, теперь с трудом читаются, поэтому неудачей кончились все попытки перейти на такую письменность [Stanlaw 2004: 66]. Хотя много лет издается бюллетень «*Kana no hikari*» («Свет каны»), в котором пропагандируется переход на хирагану, никакого влияния он не имеет; показательно, что часть материалов там печатается обычным письмом. Еще одно удобство использования смешанного письма — компенсация традиционно отсутствующего в Японии пробела (он используется лишь в изданиях для маленьких детей, но там пробелом или запятой отделяются не слова, а целые синтагмы). В японском языке почти все грамматические показатели (кроме разве что вежливого префикса *o/go*) находятся в конце слова или в конце синтагмы, поэтому если в тексте за знаком хираганы следует иероглиф, значит, велика вероятность того, что здесь проходит граница слов.

Отмечают и то, что обычный японский письменный текст дает возможность как бы двухуровневой прочтения. Об этом писал Н. И. Конрад (в 20—30-е гг. сторонник отмены иероглифов) в письме японскому коллеге, приславшему для него книги (1969): «Когда я бегло просматривал эти книги, переворачивая одну страницу за другой, у меня возникло ощущение, будто я погружаюсь в мир каких-то понятий. Так как я только перелистывал книгу, а не читал ее, что в ней говорится, я уловить не мог, но о чем говорится, мне было совершенно ясно. ... Первое, что хочет знать человек, открывая новую для себя книгу, это — о чем в ней написано; получается, что наличие иероглифов дает на это быстрый и точный ответ при одном взгляде. При европейской системе письма мы должны были бы прочитать весь текст или по крайней мере отдельное слово все полностью. При японской же системе письма первая, начальная информация получается

наиболее быстрым и экономичным путем через одни иероглифы» [Конрад 1972: 493–494]. Из этого Н. И. Конрад теперь уже делал вывод, что нельзя отменять иероглифы (чего к тому времени никто и не собирался осуществлять).

До 40-х гг. XX в. орфография каны была исторической, переносившей на современный язык правила бунго (ср. русскую дореволюционную орфографию). Сразу после войны не только упростили иероглифику, но и реформировали орфографию каны (одинаково для хираганы и катаканы). Реформа каны была очень похожа на реформу русской орфографии 1917–1918 гг., сходство было даже в том, что обе они были подготовлены намного раньше, но вступили в действие лишь в годы общественных изменений. Из каждого алфавита исключили по два «японских ятя», а большая часть исторических написаний была заменена фонетическими. Исключение составили отдельные написания частотных грамматических элементов. В итоге данная реформа оказалась успешной: старая орфография забыта не менее прочно, чем в России, хотя довоенная литература может публиковаться и на ней (много реже, чем с использованием старой иероглифики), а старые написания изредка встречаются.

Впрочем, не все реформы каны оказались удачными. Ничего не получилось из принятого после войны решения отменить фуригану: она очень удобна и на деле никогда не прекращала употребляться, потом ее вновь узаконили. Не всегда однозначно написание хираганой глагольных окончаний (так называемая окуригана). Скажем, в упоминавшемся в главе 7 глаголе *kaeru* 'возвращаться' после обозначающего корень иероглифа одни пишут хираганой *eru*, а другие только *ru*. Предпринималось несколько попыток упорядочить такие правила, но они так и не удалась, в ряде случаев даже в учебниках пишут по-разному [Takada 2007: 29].

Еще один вопрос — направление письма. Традиционно в Японии, как и в Китае, пишут вертикально сверху вниз, а столбцы располагаются справа налево; издавна известно было (например, в надписях, вывесках) и горизонтальное написание, также справа налево. Но со времен Мэйдзи с Запада пришло и горизонтальное написание слева направо, ставшее более частым после войны. Оно полностью вытеснило обратное направление (сейчас сохраняющееся лишь в некоторых храмах) и постепенно распространяется и туда, где еще недавно писали вертикально. Особенно эта экспансия видна в справочной, библиографической и отчасти в научной литературе. На-

пример, в ежегоднике японской лингвистики «Кокуго-нэнкан» биографические справки об ученых до 70-х гг. печатались вертикально, а затем горизонтально. Горизонтально пишутся и все надписи на телеэкране. А в компьютерную эпоху то, что пишут на *waafuro*, чаще имеет горизонтальное направление слева направо. Внедрение таких норм вызывает протесты, особенно у старшего поколения. Уже упоминавшийся Тояма Сигэхико считает, что японские иероглифы должны стоять, а их заставляют лежать, и что при написании в строку теряется красота языка [Тоуама 2005: 26–28]. Впрочем, вертикальное написание еще не сдает позиции во многих жанрах: газеты, журналы и художественная литература, включая переводную, печатаются по-прежнему вертикально.

Итак, сложная японская письменность при внимательном ее изучении оказывается вполне логичной и удобной, а ее трудности, кажущиеся значительными для людей, привыкших к иным системам письма, не столь велики для тех, кто вырос в японском обществе. Еще три четверти века назад выдающийся китаист академик В. М. Алексеев писал: «Иероглифика есть также некий исторически закономерный и высоко развитый способ человеческого общения, который в существе своем вряд ли отличается от алфавита. ... Если иероглифы в некоторых отношениях сложнее букв, то в других — они проще, как комплексы» [Алексеев 1932: 59].

За последние десятилетия выяснено, что человеческая речь связана с обоими полушариями мозга: за семантику отвечает правое полушарие, а за преобразование смысла в текст, за формальные механизмы — левое [Балонов, Деглин 1976]. Существует гипотеза, согласно которой иероглифика воспринимается правым полушарием, тогда как любое алфавитное письмо, включая хирагану и катакану, — левым. Если это так, то именно поэтому иероглиф нормально воспринимается целиком и сразу. Разумеется, это относится лишь к людям, хорошо владеющим иероглифами, обычно с детства. Иностранцы же очень часто вынуждены тратить время на опознавание каждого иероглифа. Впрочем, так бывает в некоторых случаях и с самими японцами, поскольку хорошо знать все иероглифы (даже все реально употребляемые) невозможно.

Наконец, кратко отметим и особенности устного варианта языка, не передаваемые на письме. Это, прежде всего, интонационные и акцентуационные особенности, в целом более заметные в женской речи, чем в мужской. В главе 8 мы упоминали, что вообще разли-

чия мужской и женской речи заметны независимо от стиля именно в устных вариантах языка. Автор книги об особенностях женской речи в Японии отмечает, что всегда, независимо от стиля и тематики разговора, у женщин наблюдается большая величина смены тона и большее использование контрастивных моделей тона [Shibamoto 1985: 55].

Возможна игра слов, имеющая смысл лишь в устном варианте языка. Она может оказать влияние даже на поведение людей. Отмечается, что японцы, которым нужно рано вставать, привыкли ставить будильник на 5.55 утра: по-японски *пять* — *go*, и повторение слова ассоциируется с омонимичным английским *go* 'Иди!'. В рекламе обыгрывается и омонимия того же *go* еще с одним омонимом — названием игры *go* [Ноппа 1995а: 51].

9.4. Латиница в Японии

В последние полтора столетия для записи заимствований из американского варианта английского языка наряду с катаканой используется и латинское письмо (по-японски *роматай*, буквально *римское письмо*). Это письмо довольно широко применялось в эпоху Мэйдзи (например, в словарях) [Kugashima 1997, 1: v], а известный писатель Исикава Такубоку написал и издал в начале XX в. свой дневник, написанный на латинице [Stanlaw 2004: 66]. В XIX в., а затем в годы оккупации шла речь о переходе на латиницу, но эта идея, по выражению Дж. Стенлоу, осталась в Японии на уровне интеллектуального любопытства [Stanlaw 2004: 88–89].

Латинское письмо до сих пор нельзя назвать хорошо известным и тем более своим для японцев, хотя, разумеется, все знакомятся с ним в школе (причём в отличие от наших школ его учат отдельно от изучения иностранных языков и на несколько лет раньше). Но если остальные виды японского письма осваивают с первого класса начальной школы, а хирагану даже с детского сада, то с латинскими буквами японские дети впервые имеют дело в четвертом классе, то есть в 9 лет [Gottlieb 2005: 83], в некоторых школах на год раньше [Kai 2007: 80]. Обязательное обучение латинице ввели лишь в годы американской оккупации, и внедрялось оно с трудом: в 1950 г. даже решили, что слишком сложно научить детей писать латинскими буквами и можно ограничиться обучением чтению [Kai 2007: 84].

Эти трудности объяснимы. В отличие от каны латиница нарушает привычные для японцев звукопредставления, согласно которым

последовательность «согласный + гласный» составляет единый и нечленимый элемент, этот вопрос мы исследовали в книге по истории лингвистических традиций [Алпатов 1998: 33–34]. В кане такие последовательности передаются одним знаком, но в латинском письме они делятся на части. Именно с этим и связано упомянутое выше высказывание лингвиста Ямада о сложности латинского письма. Сейчас, разумеется, японцы привыкли к латинским буквам больше, чем в послевоенные годы. Но даже сейчас использование латиницы часто оказывается знаком недостаточной освоенности соответствующего слова. Если же слово, пришедшее из США, достаточно известно, его будут, скорее всего, писать катаканой. До сих пор японские лингвисты, особенно принадлежащие к старшему поколению, оценивают латиницу в отличие от катаканы как «чужое письмо» [Magutani 1993: 66].

Следует учитывать и то, что среди разных видов латиницы, безусловно, и в Японии, и вне ее господствует самый традиционный. Это появившаяся еще в XIX в. так называемая латиница Хэпбёрна, ее автор, миссионер, был одним из первых американцев, изучивших японский язык. Она имеет много недостатков (прежде всего, она недостаточно научна) и всего одно достоинство: она хорошо соответствует звуковым представлениям носителей английского, но не русского и, главное, не японского языка. И в русском, и в японском языке очень развито противопоставление твердых и мягких согласных, которого нет в английском языке. Американцы и англичане воспринимают японские мягкие *c'*, *m'*, *dz'* как *ш*, *ч*, *дж* (графически *sh*, *ch*, *j*), а прочие мягкие – как сочетания с йотом: скажем, слог *k'a* воспринимается как *куа*. Отметим, что русская кириллическая транскрипция, разработанная Е. Д. Поливановым, основана на иных, более научных принципах, и поэтому русские написания вроде *суши*, *Хитачи*, а не *суси*, *Хитати* показывают, что эти слова взяты либо из японских текстов на латинице, либо (что во много раз вероятнее) из английского, а не японского языка. Еще в БЯРС (2, 165) и как японское слово, и как его русский эквивалент дается не *суши*, а *суси*, но сейчас так, кажется, говорят только профессиональные японисты. С этим трудно бороться, если английский язык известен в России намного лучше японского. А из-за ее широкой распространенности и в этой книге принята латиница Хэпбёрна.

И в Японии латиница Хэпбёрна, официально нигде не закрепленная, с 40-х гг. XX в. почти полностью господствует, хотя в некоторых

сферах (картография, библиотечные каталоги) встречается и иной вид латинского письма — так называемая *kunrei-romaji* (буквально *директивная латиница*), в 1937—1945 гг. принятая официально. Зависимость стандартной латиницы от представлений носителей английского языка, возможно, еще более усложняет освоение латинского письма японцами (по крайней мере, усложняло раньше).

В принципе латиницей может писаться любое гайрайго. Но в двух случаях использование латинских букв вполне стандартно. Во-первых, это аббревиатуры. Именно здесь особенно жалуются на наступление латинского письма [Marutani 1993: 66]. Только латиницей пишутся, например, такие стандартные аббревиатуры, как ОК 'о-кэй', OL 'офис-леди' (название неквалифицированного женского конторского персонала). Даже аббревиатуры, не относящиеся к заимствованиям, могут стандартно писаться латинскими буквами. В Японии общеизвестно название полугосударственной теле- и радиокомпании NHK (читается *эн-этти-кээ*). Оно, однако, расшифровывается как *nihon-hoosoo-kyookai* 'японская вещательная компания'. Близкий случай составляют инициалы в именах иностранцев: обычно они пишутся латинскими буквами, фамилия при этом чаще пишется катаканой (в отношении японцев инициалы не приняты). Во всех случаях (включая случаи типа NHK) сокращения произносят в соответствии с произношением соответствующих букв в английском языке: OL — *ou-eri* (в японском языке *li* и *ri* не различаются). Аббревиатура СССР, прочитанная побуквенно по-русски, была записана японцем как SSSL.

Второй, менее стандартизованный, но сейчас очень частый случай — использование латиницы для создания, как говорят японцы, *imeeji* (image) того или иного слова или целого текста. Типичные примеры — надписи на майках или заголовки молодежных журналов, особенно журналов для девушек, где, как мы уже отмечали, латиница встречается чаще, чем катакана. Принята латиница и в девизах многих компаний. См. о функциях латиницы в таких случаях [Stanlaw 1992: 90; Loveday 1996: 10]. В таких текстах даже исконное слово (например, японское собственное имя) будет писаться латинскими буквами. Наряду с цельными текстами на латинице, состоящими из гайрайго, бывают и смешанные по написанию предложения: название песни по телевидению *Sumire September Love* 'фиалка — сентябрьская любовь' состояло из ваго, записанного хираганой ввиду редкости соответствующего иероглифа, и двух английских слов, написанных латини-

цей. Зафиксированы даже случаи смешения в одном слове: в слове *gorufuing* 'гольф' корень был записан катаканой с добавлением записанного латиницей окончания *-ing*. Написания последнего типа, разумеется, имеют шуточный характер и связаны со сферой развлечений [Loveday 1996: 121].

В случае написаний латиницей возникает вопрос: где проходит грань между использованием английского языка и записью латинскими буквами японского текста. Выше упоминалась реклама японских товаров по-английски, а надпись на майке может быть повторением подобной надписи, модной в США. По мнению Дж. Стенлоу, в японском языке можно выделить не четыре, а пять видов письма: иероглифы, хирагана, катакана, японская латиница и вкрапления английского языка [Stanlaw 2004: 146]. Скажем, название японской газеты, записанное как *Asahi Shimbun* (*shimbun* – 'газета'), – латиница, но ее же запись как *Asahi Newspaper* – фрагмент английского текста [Stanlaw 2004: 149]. Однако грани между двумя последними из этих видов письма, в отличие от всех остальных, нельзя назвать четкими, а очень часто мы имеем дело скорее с имитацией английского языка. Текст сочиняется по-японски и первоначально пишется катаканой, потом перекодировается на другой алфавит, часто сохраняя гайрайго, отсутствующие в английском языке, а иногда и обычные ваго и/или канго. Скажем, вышеупомянутое сокращение *OL* или его развернутый эквивалент *ofisu-rejii* созданы в Японии; из английского языка пришли по отдельности *office* и *lady*, а никакого *office lady* там не было (зато теперь оно там появилось, по крайней мере, в Интернете, как заимствование из японского). И здесь по сути мы имеем дело с переносом на английский язык норм, когда-то выработанных для китайского языка: японизированный английский язык – нечто вроде современного варианта камбуна. См. об этом [Loveday 1996: 215; Honna 1995a: 54].

Хотя нет строгих норм разграничения между катаканой и латиницей (скорее можно говорить о том, что официальные правила латиницу вообще не предусматривают), имеется явная тенденция к нему. Если оставить в стороне аббревиатуры, которые неудобно писать катаканой, латиница появляется там, где денотативное значение слова или даже значение целого текста малопонятно или даже вовсе не известно, а важен лишь американский «имидж». Как показывают опросы информантов, в частности, в молодежной среде, знание многих используемых в Японии заимствований очень невелико. Однако их облик, связанный со сферой массового потребле-

ния, понятен всем. Как указывают исследователи [Loveday 1996: 192], американизмы в японском языке имеют две функции: передачи информации и создания американского «имиджа»; чем большую роль играет первая функция, тем скорее слово будет писаться катаканой, чем важнее вторая функция, тем больше вероятность использования латинского письма.

Вместе с распространением латинского алфавита в Японии стали распространяться и международные иероглифы вроде «арабских» цифр, знаков параграфа, доллара и т. д., в большинстве они уже хорошо прижились в языке.

Глава 10

ОТРАЖЕНИЕ ЯПОНСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ЯПОНСКОЙ ЛЕКСИКОГРАФИИ

Безусловно, наука о языке в той или иной стране отражает некоторые свойственные этой стране культурные представления и стереотипы. Особенно это заметно в тех странах, которые, как Япония, самостоятельно выработали собственную лингвистическую традицию; об этих вопросах мы писали в ряде публикаций [Алпатов 1990; Алпатов 1998: 11–43]. Специфика подходов к языку в Японии сохранилась до настоящего времени, и культурные стереотипы отражаются здесь в большой мере, что мы уже видели в связи с работами по *nihonjinron*. Здесь мы рассмотрим еще один вопрос – отражения специфики культурной традиции в японской лексикографии (составлении словарей).

Лексикография в Японии имеет давние корни (первые словари появились в IX в.) и очень развита. Если поначалу японская лексикография зависела от китайских образцов, в соответствии с которыми толковались не столько слова, сколько иероглифы, то затем еще в позднее средневековье сформировалась оригинальная традиция составления толковых словарей. Уже в XVIII в., в период закрытой Японии Котосуга Танигава составил словарь «Вакункан», состоявший из 93 томов. В наши дни количество толковых словарей японского языка разного объема очень велико. Современный японский теоретик лексикографии Кунихиро Тэцуя (его книга вскоре должна выйти в русском издании [Кунихиро в печати]) приводит список из тринадцати больших и средних словарей, изданных в 1985–1995 гг., материал которых он рассматривает; дополнительно привлекаются и несколько других словарей. Конечно, среди этих словарей есть и переиздания (в том числе и словарей, первые варианты которых появились в 30–50-е гг.), но каждый из них при переиздании дополнялся и исправлялся. Список впечатляет: не только за последние десять

лет, но и за всю историю российской лексикографии вряд ли наберется тринадцать различных толковых словарей русского языка.

История японской лексикографии со времен Мэйдзи до наших дней подробно описана в двухтомном труде [Kurashima 1997]. Здесь рассказывается о том, как происходил синтез национальных традиций и европейского влияния, как создавались крупнейшие японские толковые словари. Это словарь 1928 г. «*Jien*» (буквально ‘сад слов’), целиком составленный крупнейшим ученым Симмура Идзуру (1876–1967), и составленное им же дополненное издание 1955 г. «*Koojien*» (‘расширенный сад слов’) – словарь переиздается до сих пор, дополняясь коллективом лексикографов, – а затем самый крупный до сих пор словарь [Nihon 1973–1976] в двадцати томах. Последний словарь делался 15 лет коллективом из 2.000 человек и включает 449.614 слов [Kurashima 1997, 2: 19, 98].

В последние десятилетия столь большие по объему словари не составлялись, но издается много средних и малых толковых словарей, а также двуязычные и специализированные словари. Отметим лишь некоторые их типы. Необозримо количество словарей гайрайго, первый из которых вышел еще в 1915 г. [Stanlaw 2004: 310], а один из последних [Gendaijin 2006] содержит 42.000 словарных единиц. Много словарей синонимов, антонимов, пословиц и поговорок; есть и словарь метафор [Hangai 2002]. В 2003 г. впервые вышел словарь просторечия и разговорных выражений (slang and colloquialisms) [Nihon zokugo 2003]. Под редакцией Масаёси Хиросэ издан на английском языке специальный толковый словарь слов и выражений, близких по значению и часто смешиваемых друг с другом [Kodansha's 2001], в него входит 302 словарные статьи и 708 слов с подробными толкованиями. Отметим и уже упоминавшийся словарь «мужского и женского японского языка» Сасаки Мидзуэ [Sasaki 2000–2003]. Среди русско-японских и японско-русских словарей можно выделить [Kenkyuusha 1988; Kodansha 1981–1992].

Но количество словарей еще не гарантирует качества. И в книге Кунихиро Тэцую много говорится о недостатках, имеющих во многих из японских словарей: порочных кругах в толковании, неточном различении близких, но не тождественных по значению и/или употреблению слов, отсутствии данных об ограничениях на словесную сочетаемость. Но нас сейчас интересует не это, а особенности японской лексикографической традиции, способные иногда ставить в тупик российского или западного наблюдателя.

Скажем, Кунихиро специально оговаривает, что он не рассматривает в своей книге по лексикографии слова, встречающиеся только в древних памятниках вроде «Манъёсю» (VIII век). У нас вряд ли какой-либо теоретик лексикографии будет обсуждать вопрос о том, стоит ли при изучении лексики современного русского языка привлекать слова из «Слова о полку Игореве» (памятник, появившийся на четыре века позже «Манъёсю»): это кажется слишком очевидным. Но в японских словарях столь архаическая лексика может встретиться, скажем, во всех упомянутых выше больших словарях она занимает значительное место. Другая особенность. Например, в словаре «Кодзиэн» на с. 1373 издания 1985 г. между словарными статьями *sensootan* 'мастер чайной церемонии' и *sensoku* 'мытьё ног' мы находим статью: *sensoo to heiwa* 'война и мир' (не рассматриваем здесь вопрос о японском алфавитном порядке, отличающемся от нашего). Тут же (как и при всех прочих заимствованиях, включая кальки) дается латинская (!) транскрипция исходной лексической единицы: *Voina i Mir*. В толковании говорится, что это роман Льва Толстого, описывающий жизнь русского народа на фоне Отечественной войны. В стране, где был написан роман, сколь популярен бы он ни был, его название никогда не включалось в качестве заглавной статьи ни в обычные энциклопедии, ни тем более в толковые словари.

Следует рассмотреть некоторые специфические особенности японской лексикографии и их причины.

10.1. Отношение к старой лексике

Почти в любом японском словаре (толковом или двуязычном) бросается в глаза некоторое количество лексики, не употребляющейся в современном литературном языке, а в разговорном языке вышедшей из употребления много веков назад (или вообще в нём не употреблявшейся). Даже в сравнительно небольшом словаре [Reikai 1972] находим слова *haberi* 'быть' (вежливо), *tamai* 'давать, пожаловать' (вежливо), *iwaku* 'говорить', *notamai* 'говорить', *makari* 'быть' и др. А в большом японско-английском словаре [Masuda 1974] таких слов еще больше. Здесь имеется особая помета А (archaic), которой снабжаются слова, вышедшие из употребления не позднее первой половины XIX в. (слова, исчезнувшие позднее, имеют помету О — obsolete). Фактически к архаичной лексике принадлежат и слова с пометами L (literary) и E (elegant), но их архаичность имеет несколько особый характер, см. ниже. А в больших словарях, вроде

вышеупомянутого однотомного словаря «*Koojien*» или в еще большей степени 20-томного словаря [Nihon 1973–1976], характерно стремление к охвату лексики за всю письменную историю японского языка с VIII в. до наших дней. В словаре «Кодзиэн» в отличие от упомянутого выше японско-английского словаря, где пометы – влияние западной лексикографии, вообще нет помет, и архаическая лексика строго не отграничена от современной. Впрочем, в толкование может включаться временная граница. Например, выше упоминалось слово *sensootan* ‘мастер чайной церемонии’, в отношении которого указано, что оно употреблялось в начале эпохи Эдо, то есть в XVII в.

В нашей стране не только не реализована, но, кажется, и не ставилась задача охватить в одном словаре всю лексику от «Русской правды» до современных писателей. Для русского языка принято считать «современным» язык от пушкинской эпохи до наших дней; за это время какой-то процент лексики мог исчезнуть или уйти на далекую периферию, но он включается в большие по объему словари. А древнерусский язык до начала XVIII в. – нечто принципиально иное (статус языка XVIII в. промежуточен и не всегда ясен). Обычно (в том числе в России) «современным» считается язык с того момента, когда окончательно сформировалась его литературная норма в современном ее виде. Для японского языка такой эпохой является эпоха Мэйдзи (1868–1912), литературная норма с тех пор сохраняла преемственность. Эта грань значима и для японской лексикографии: см. различие помет *archaic* и *obsolete*. Но если слова, соответствующие *obsolete*, включаются в словари современного языка и в других странах, то слова, соответствующие *archaic*, – нет.

Причин различия, видимо, две. Одна из них связана с особым отношением между современным литературным и старописьменным (бунго) языками в Японии. Современный литературный язык здесь существует с эпохи Мэйдзи, а ранее соответствующую роль играл бунго, типологически сопоставимый с церковнославянским языком в России или латынью в Западной Европе. Но если последние языки уже давно вышли из активного употребления (исключая лишь религиозную сферу), то бунго сосуществовал с современным литературным языком до 40-х гг. XX в. и не совсем забыт даже сейчас, о чем мы уже писали в первой главе. Еще в 1941 г. видный лингвист Токиэда Мотоки полагал, что для носителя языка современный литературный язык и бунго различаются не как современный и древний язык, а

по степени престижности: бунго выше [Токиэда 1983: 93]. И, что особенно важно, бунго остается источником пополнения лексики и даже грамматики современного литературного языка [Алпатов 1977].

Еще одно отличие бунго от церковнославянского языка для России или латыни для германских народов в том, что он сформировался на основе нормализации и консервации японского языка одной из исторических эпох: IX—XII вв. В России или Германии древнерусские или древненемецкие памятники не могли рассматриваться как наиболее престижные тексты на «своем» языке: так первоначально рассматривались соответственно церковнославянские и латинские тексты; позже появились собственные образцы более позднего времени. В Японии же язык памятников IX—XII вв. (иногда также и VIII в.) во все последующие эпохи считался образцовым и не отграничивался от бунго, позже сложившегося на основе этих памятников. До XIX в. для японских грамматистов существовал единый язык, который мог быть лишь лучше или хуже. Когда сложился новый литературный язык, «хороший» (нормализованный) японский язык стали рассматривать в двух вариантах: бунго и кого (буквально «письменный язык» и «разговорный язык»). Это нашло отражение и в лексикографии, в частности, в словаре «Коојіеп», первое издание которого («Јіеп») вышло в 1928 г. (последующие его дополнения и изменения не коснулись данного принципа). В этом словаре даже при словах, общих для бунго и современного языка, примеры обычно даются из старых памятников на бунго.

При таком подходе любое слово древних памятников могло хотя бы потенциально появиться во вновь создаваемом на бунго тексте. А в первой половине XX в. в деловой сфере всё писали на бунго. И пока бунго был живым языком, любой архаизм имел шанс «воскреснуть» в нем, а затем перейти в современный литературный язык, книжная лексика которого формировалась на основе бунго. Поэтому включение в словарь архаизмов могло иметь и практическое значение. На практике не всегда легко различить давно исчезнувшие слова (помета А в японско-английском словаре) и слова, употреблявшиеся в бунго XIX—XX вв., но не прижившиеся в современном литературном языке (пометы Е для поэтической и эпистолярной и L для иной лексики).

Хотя сейчас новые тексты на бунго почти не создаются, исключая лишь традиционные жанры поэзии, но лексикографическая практика не меняется (конечно, включение или невключение архаи-

ческой лексики зависит от объема словаря). Показательно сопоставление первого издания упомянутого выше японско-английского словаря [Katsumata 1954] и его переработанного издания [Masuda 1974]. На просмотренных нами с. 418–450 первого издания в новое издание не попали 144 слова, из них лишь одно с пометой А, 10 с пометой L, 7 с пометой Е; большинство исключенных слов – слова, не имевшие никаких помет, за двадцать лет, видимо, потерявшие актуальность. Но в соответствующей части нового издания остались 7 слов с пометой А, 106 слов с пометой L и 7 слов с пометой Е.

Такая лексикографическая практика, видимо, имеет основания, поскольку бунго в Японии (в отличие от церковнославянского языка в России) учат в школе, и есть жанры, где соответствующая лексика, пусть дозировано, употребляется. Например, в популярном жанре самурайского фильма самураи говорят, разумеется, на современном литературном языке, но с постоянными вкраплениями старых слов, особенно старых форм вежливости. И архаичные глаголы, включенные в вышеупомянутый словарь малого объема, как раз могут встретиться в самурайских фильмах (невозможный в обычной речи глагол *tatai* в словаре [Masuda 1974] дан даже без помет). К тому же ввиду сохраняющегося пассивного знания бунго старые литературные памятники даже сейчас не принято переводить на современный язык: они издаются в оригинале с комментариями. Всё это поддерживает лексикографическую традицию.

Другая причина состоит в том, что, как пишет Курасима Нагама, в концепции большого словаря [Nihon 1973–1976] (как и многих других словарей) ключевое слово – «культура» [Kurashima 1997, 2: 19]. В словари стремятся включить любые слова, важные для японской культуры, в том числе и те, что в современном языке не употребляются (отвлекаемся, конечно, от ограничений, связанных с объемом словарей). Мы приводили слова Судзуки Такао о том, что для современного японца «Манъёсю» в большей степени актуальная часть своей культуры, чем «Беовульф» для современного англичанина (Россия тут, видимо, ближе к Англии). Это сказывается и на лексикографии.

Курасима Нагамаса отмечает, что включение старой лексики, начиная от древнейших памятников, оставалось инвариантной чертой японской лексикографии с эпохи Мэйдзи до последнего времени [Kurashima 1997, 1: 222, 247, 262]. Но сейчас всё больше говорят о создании словарей современного языка без помещения в них старой лексики [Kurashima 1997, 2: 180–181].

10.2. Отношение к именам собственным

В большинство японских толковых и двуязычных словарей включаются и собственные имена, что в целом не свойственно европейской традиции. Особенно последовательно это делается для географических названий. И в японско-английском словаре [Masuda 1974], и в словаре [Koojien 1985], и в среднем по объему словаре [Sanseidoo 1992] представлены названия большинства государств мира. Включаются в словари также названия организаций, органов печати и пр. Реже в них включаются имена и фамилии, но в том же словаре [Koojien 1985] можно найти самые обычные личные имена вроде мужского имени *Taro* (1520), имена общеизвестных исторических лиц, скажем, всех сёгунов рода Токугава (1720) (дана большая словарная статья *Tokugawa*, в которую включены имена всех этих правителей с краткой биографией). С этим, разумеется, связано и включение в данный словарь романа «Война и мир»; автор этого романа, как и два других знаменитых Толстых (*Torusutoi*), также включены в этот словарь (1764).

Последовательно включаются иностранные имена и фамилии (разумеется, без перевода и лишь с транскрипцией и пометой «имя» или «фамилия») в иностранно-японские словари издательства Сансэйдо. Например, в русско-японском словаре [Konsaisu 1962] на стр. 398–399 приводятся *Лель, Лена, Ленка, Лентовский, Ленушка, Леонид, Леонтий, Леонтьев, Лепорелло (!), Лермонтов, Лесков, Лесников* (а также имена собственные иных категорий: *Лейпциг, Лена, Ленинград*). При этом словарные статьи *Лермонтов, Лесков* и др. (в отличие от статей в словаре «Кодзиэн») — статьи о фамилиях, а не об их носителях; поэтому, как и в наших словарях, здесь отсутствует *Ленин* при наличии слов *ленинец* и *ленинский*, поскольку это псевдоним. Впрочем, *Лепорелло* истолкован как слуга Дон Жуана. Есть, однако, и словари, куда под западным влиянием собственные имена не включаются, как упоминавшийся словарь [Reikai 1972]. Но и там, несмотря на наличие привычного для нас особого списка географических названий, имеется (стр.884) словарная статья *Nihon* 'Япония' с толкованием «название нашей страны».

У нас, как и на Западе, традиции иные. Собственные имена свободно включаются лишь в энциклопедические словари, но не в толковые (см. словарь Ожегова, Малый академический словарь, словарь Вебстера в США, словарь Робера во Франции и пр.), а в двуязычных словарях даются особым списком, хотя бывают и исключения (см.

ниже). Таким образом, собственные имена представляются как нечто отличное не только от других имен, но и от всех других слов языка. Теоретическое обоснование такой подход находит в известных формулировках о том, что собственные имена в отличие от иной лексики не понятийны.

Этот подход к собственным именам в европейской лингвистической традиции имеет глубокие корни; в первой дошедшей до нас полной системе частей речи Хрисиппа (III в. до н. э.) они входят в эту систему наряду с именем нарицательным (включая и прилагательные), глаголом, союзом и артиклем. И позднее это понятие устойчиво сохранялось.

Однако его сущность до сих пор не ясна. Многочисленные теории имени собственного весьма разнообразны и иногда даже противоположны. Как указывает А. В. Суперанская, существуют: «теория, согласно которой собственные имена не имеют значения в отличие от нарицательных...», теория, согласно которой собственные имена имеют большее значение, чем нарицательные..., теория, согласно которой каждое имя исключительно индивидуально..., теория, согласно которой все имена собственные – синонимы..., теория произвольности собственных имен..., теория строгой мотивированности собственных имен» [Суперанская 1973: 88]. Обычно каждое из таких определений выделяет некоторый класс имен, не совпадающий с традиционным классом собственных имен. Например, распространенная трактовка их как обозначений индивидуальных объектов не подходит к личным именам и фамилиям, но включает слова вроде *небо*, *эклиптика*, *зенит* и т. д.

Имена собственные в ряде языков определяются лишь традицией, которая может быть различна для разных языков и меняться со временем: названия месяцев, дней недели, народов, языков считаются собственными именами в английском языке и нарицательными в русском, а названия народов писали в XIX в. с большой буквы и в русском языке. Помимо общего графического выделения прописной буквой (невозможного для японского языка, где таких букв нет), в ряде европейских языков имеются и формальные особенности некоторых классов собственных имен вроде специфической сочетаемости с артиклями. И всегда, особенно когда таких формальных особенностей нет, возникают спорные случаи. Скажем, в словаре [Ожегов, Шведова 1997] нет, разумеется, города Эссентуки, но есть одноименная минеральная вода (с. 188). Можно ли говорить здесь о

нарицательном имени? Или, например, в Японии принято любую трехцветную кошку именовать *Mike* (буквально «три шерсти»). Что это: нарицательное имя со значением «трехцветная кошка» (так оно подается в БЯРС (т. 1, с. 598)), собственное имя-кличка или два омонима? Анализ подобных примеров см. [Суперанская 1973: 178].

Не удивительно, что данное не очень ясное понятие с трудом приживается в японской науке. Например, М. Киэда писал в 1937 г. о различии собственных и нарицательных (а также собирательных, абстрактных и пр.) имен: «В европейских языках такому делению имен существительных предпосланы определенные правила, например, правила употребления артикля, правописания с большой буквы и т. п., — отсюда и необходимость различения каждого из этих типов. Что же касается японского языка, то он таких правил не имеет и потому нет необходимости в грамматической классификации по обозначаемому предмету» [Киэда 1958: 85–86]. Далее он признает возможность выделения нарицательных и собственных имен в японском языке, но считает, что оно вызвано «только соображениями практического удобства» [Киэда 1958: 86].

Такое чуждое традиции и всей японской культуре понятие как имена собственные осталось не до конца освоенным, что проявляется и в лексикографии. При этом можно видеть, что традиция, когда-то вообще не различавшая собственные и нарицательные имена, сейчас уже не едина. Можно видеть три лексикографических подхода. Самый традиционный, представленный во всех изданиях словаря «Кодзиэн» или в 20-томном словаре, не только не отделяет имена собственные от остальных слов, но и совмещает свойства толкового и энциклопедического словаря, объясняя, например, кем были А. К., Л. Н. и А. Н. Толстые. Культурная ориентация таких словарей способствует включению в них энциклопедической информации. И эта энциклопедичность со временем могла усиливаться: например, в третьем издании словаря «Кодзиэн» 1969 г. в статье об Исландии по сравнению с первыми изданиями добавили данные о числе жителей и преобладающей религии [Kurashima 1997, 1: 264]. Иной подход в русско-японском словаре [Konsaisu 1962]: здесь, наоборот, нет энциклопедичности, но учитываются трудности при переводе (не всякий японец, слушая русскую речь, сразу поймет, что *Лермонтов* — фамилия). Иногда, как в словаре [Reikai 1972], европейский подход оказывает влияние, но психологически всё равно оказывается трудным принять, что слово базовой лексики — название собственного

государства — не должно включаться в словарь, отсюда непоследовательности.

В последних по времени словарях нередко собственные имена даны непоследовательно. Например, в словаре гайрайго [Gendaijin 2006] нет Чечни, есть лишь *Чеченский конфликт* (322), зато наряду с *Чернобыльской катастрофой* есть *Чернобыль*, толкуемый как связанный с катастрофой город (323).

Можно ли считать здесь европейские лексикографические традиции обоснованными? Представляется, что нередко как раз они искажают представления о системе языка. Например, в [Словарь 1948—1965, 3: 1259] имеется слово *елизаветинский*, которое толкуется: «относящийся, принадлежащий ко времени царствования императрицы Елизаветы Петровны (1741—1761)». В одной словарной статье фактически толкуются и производящее, и производное слово, но производящее слово не выделено в словарную статью. Ср. во французском словаре [Robert 1985, 4: 887]: *parisien* 'парижский' толкуется как «производное от Paris — столица Франции». Ни в одном русском толковом словаре нет, например, слова *Япония*, хотя всегда в них бывают *японцы*, *японка* и *японский*, а иногда и *японистика* и *японвед* [Ушаков 1935—1940, IV: 1463; Ожегов 1952: 847; Словарь 1948—1965, 17: 2185; Ожегов, Шведова 1997: 918]. Отметим, что *японцы* всегда фигурируют во множественном числе, а *японка* в единственном. В толковании этих слов присутствует производящее слово *Япония*, которое в отличие от слова *Елизавета* не принято толковать даже в статьях о производных словах. Отсутствие исходного слова может приводить к ошибкам в толковании, как это произошло в словаре Ушакова и в первых изданиях словаря Ожегова, где *японский* трактуется исключительно как прилагательное к слову *японцы* (*япо-нец*). Очевидно, однако, что в большинстве случаев *японский* относится к слову *Япония* (в словарях [Словарь 1948—1965; Ожегов, Шведова 1997] ошибка исправлена).

«Нормальный» носитель русского языка может ощущать неадекватность традиции. В 50-е гг. возникла стихийная дискуссия в «Литературной газете» из-за словарной статьи *юпитер* в словаре Ожегова (были даже юмористические стихи по этому поводу [Тимофеев 1956]). В этом словаре слово представлено одним значением «мощный осветительный прибор» (с. 844). То же в [Словарь 1957—1961] и во всех последующих изданиях словаря Ожегова и Ожегова, Шведовой [Ожегов, Шведова 1997: 915]. Лексикографы в ответ на кри-

тику со стороны поэта Б. Н. Тимофеева отвечали так, как им было положено: собственным именам не место в толковом словаре, а *Юпитер* как нарицательное имя имеет лишь одно значение. В словаре [Ушаков 1935–1940, IV: 1447] это значение также единственное, но дана этимология слова, в которой говорится и о «верховном божестве в римской мифологии», и о «самой большой планете солнечной системы». Ситуация, сходная с *Елизаветой* в другом словаре. Но в [Словарь 1948–1965, 17: 1995–1996] слово *Юпитер* толкуется интуитивно более приемлемо, хотя и вразрез с лексикографической традицией: первым значением идет божество, вторым — планета и лишь третьим — осветительный прибор.

Были лингвисты, которые иначе смотрели на помещение собственных имен в словарь. В нашей стране это был Л. В. Щерба, последовательно включавший собственные имена в составленный под его редакцией «Русско-французский словарь». А для словаря русского языка он написал фрагмент на букву *и* явно ради словарной статьи *Иван* (а также *Иванов* и *Иванушка*). Ср. включение словарной статьи *Taro* в словарь «Кодзиэн»: это японское имя не менее богато фразеологией.

Л. В. Щерба ничего не знал о японских лексикографических традициях, но его подход оказался близким. Представляется, что включение имен собственных в словарь заслуживает внимания.

10.3. Подача фразеологизмов

Это свойство в отличие от двух предыдущих труднее связать с культурой, и оно присуще не всем японским словарям, особенно более вестернизированным. Однако оно было свойственно еще словарям эпохи Мэйдзи [Kirashima 1997, 1: 130], а, например, в словаре «Кодзиэн» представлено в полной мере.

Приводившийся выше пример с романом «Война и мир» страшен для нас не только потому, что это — имя собственное, но и потому, что это — словосочетание. Для японского языка эквивалент названия романа — «*Sensoo to heiwa*» — также словосочетание по грамматическим критериям (орфографический критерий неприменим, так как пробела в обычном японском тексте не бывает). Имеются два существительных *sensoo* 'война' и *heiwa* 'мир' (как противоположность войне), соединенные сочинительным союзом. Однако в словаре это словосочетание стоит между двумя несомненными словами и подано как целая единица.

И так постоянно в данном словаре. Например, вслед за словом *sode* 'рукав' (с. 1417) идет страница текста с иными словами вроде *sodegaki* 'низкая ограда', *sodeguchi* 'отверстие рукава', *sodetatami* 'складывание (кимono) рукавом к рукаву'. Затем на с. 1418 идет 25 фразеологизмов с первым компонентом *sode*, за которым следует атрибутивный послелог *no* и какое-нибудь другое слово: *sode no shita* 'взятка' (буквально «под рукавом»), *sode no kami* 'женский носовой платок' (буквально «бумага рукава»).

Однако так подаются не все фразеологизмы, а лишь номинативные единицы: именные словосочетания (атрибутивные или сочинительные) или сложные номинативные единицы любой структуры, например, названия художественных произведений (*Wagahai wa neko de aru* 'Я — кот (есть)' (в русском переводе «Ваш покорный слуга — кот») — название повести Нацумэ Сосэки). Глагольные фразеологизмы подаются, как и в европейских словарях, внутри словарной статьи после толкования. Упомянутая словарная статья *sode* 'рукав' не включает в себя особо выделенные фразеологизмы вроде «*sode* + *no* + имя», но включает фразеологизмы типа «*sode* + *o* (показатель прямого дополнения) + глагол» вроде *sode o hiku* 'приставать к женщине' (буквально «тянуть рукав»). В «Большом японско-русском словаре», в котором учтены первые издания словаря «Кодзиэн», все эти фразеологизмы, как принято в русских словарях, даны единообразно: внутри словарной статьи *sode*.

Данное свойство присутствует и в словарях гайрайго, неологизмов или (особый класс японских словарей) словарях слов, расположенных по году появления в языке. Так, в приложении к словарю газетной кампании «Асахи» [Asahi 1973: 1008–1031] перечисляются слова (включая собственные имена) и словосочетания, впервые появившиеся в 1945–1972 гг. Например, в списке слов, появившихся в 1954 г. [Asahi 1973: 1016], на равных правах фигурируют *toranjisutaa* 'транзистор', *gojira* 'Годзилла' (персонаж кино), *shi no hai* 'пепел смерти, радиоактивный пепел', *senryoku naki guntai* 'войска без военной силы' (правительственная формулировка в отношении «сил самообороны»). Опять-таки это либо имена, либо именные словосочетания, либо сложные номинативные единицы.

Такой подход может быть удобен, особенно в отношении составных названий вроде «Война и мир», «Я — кот», которые представляют собой единую номинацию независимо от состава и количества словоформ. Характерен особый знак препинания — кавычки, выделя-

ющий такое название в целом; этот знак препинания прижился в том же значении и в Японии, где так и не получили распространения пробел или прописные буквы. Последовательности с атрибутивным *но* могут быть в японском языке и лексикализовавшимися сложными словами, а жесткую грань между сложными словами и словосочетаниями не всегда легко провести.

Рассмотрение фразеологизмов наряду со словами может быть оправдано и в теоретическом отношении. Словарь отражает лексическую систему языка, а единицы ее — не только слова, что не всегда осознается в лексикографической практике. Как писал С. Е. Яхонтов, «словарное слово — единица, которая по характеру своего значения должна отдельно учитываться в словаре. ... Словарное слово вовсе не обязательно совпадает с графическим. Например, русск. *летучая мышь* — единое словарное слово, потому что оно объясняется или переводится в словарях целиком, а не по частям; в этом смысле оно ничем не отличается от англ. *bat*, имеющего то же самое значение. В словаре С. И. Ожегова имеются слова *усталь* и *удерж*, но объяснения им не дается, объясняются только словосочетания *без устали*, *без удержу*. Именно эти сочетания являются словарными словами: *усталь* и *удерж* — это графические слова, но не словарные слова» [Яхонтов 1963: 166]. К японскому языку понятие графического слова неприменимо. Поэтому там могут более последовательно выделяться словарные статьи, тогда как в европейской традиции может оказаться практически более удобным приравнять лексическое слово к графическому.

Таким образом, некоторые особенности японской лексикографической традиции имеют под собой основания и заслуживают внимания. И в той или иной степени они отражают свойства японской культуры.

ЛИТЕРАТУРА

- Абаев 2006 – *Абаев В. И.* Понятие идеосемантики // *Абаев В. И.* Статьи по теории и истории языкознания. М.: Наука, 2006 (первое издание в 1948 г.).
- Алексеев 1932 – *Алексеев В. М.* Китайская иероглифическая письменность и ее латинизация. Л.: АН СССР, 1932.
- Алпатов 1973–2006 – *Алпатов В. М.* Категории вежливости в современном японском литературном языке. М.: Наука, 1973. 2-е изд. М.: УРСС, 2006.
- Алпатов 1976 – *Алпатов В. М.* О соотношении исконных и заимствованных элементов в системе японского языка // Вопросы языкознания. 1976, № 6.
- Алпатов 1977 – *Алпатов В. М.* Элементы, заимствованные из старописьменного языка, в системе современного японского языка // Вопросы японской филологии. 4. М.: МГУ, 1977.
- Алпатов 1988–2003 – *Алпатов В. М.* Япония: язык и общество. М.: Наука, 1988. 2-е изд. М.: Муравей, 2003.
- Алпатов 1990 – *Алпатов В. М.* О сопоставительном изучении лингвистических традиций (к постановке проблемы) // Вопросы языкознания. 1990, № 2.
- Алпатов 1995 – *Алпатов В. М.* Литературный язык в Китае и Японии: опыт сопоставительного анализа // Вопросы языкознания, 1995, № 1.
- Алпатов 1996–2001 – *Алпатов В. М.* Многоязычие в Японии // Япония. 1994–1995. М.: Восточная литература, 2006. То же в виде брошюры. М.: Муравей, 2001.
- Алпатов 1998 – *Алпатов В. М.* История лингвистических учений. М.: Языки русской культуры, 1998.
- Алпатов 2002 – *Алпатов В. М.* О сосуществовании исконной, китайской и английской подсистем в системе современного японского языка // Языкознание в теории и эксперименте. К 80-летию М. К. Румянцева и 40-летию лаборатории экспериментальной фонетики ИСАА при МГУ. М.: ПРОБЕЛ, 2000, 2002.

- Алпатов 2005 — *Алпатов В. М.* Волошинов, Бахтин и лингвистика. М.: Языки славянских культур, 2005.
- Алпатов 2007 — *Алпатов В. М.* Алтайская гипотеза или алтайская теория? // *Basileus*. Сборник статей, посвященных 60-летию Д. Д. Васильева. М.: Восточная литература, 2007.
- Алпатов, Аркадьев, Подлесская 2008 — *Алпатов В. М., Аркадьев П. М., Подлесская В. И.* Теоретическая грамматика японского языка. М.: Наталис, 2008.
- Алпатов, Басс, Фомин 1981 — *Алпатов В. М., Басс И. И., Фомин А. И.* Японское языкознание VII–XIX вв. // История лингвистических учений. Средневековый Восток. Л.: Наука, 1981.
- Балонов, Деглин 1976 — *Баллонов Л. Я., Деглин В. Л.* Слух и речь доминантного и недоминантного полушарий. Л.: Наука, 1976.
- Бенедикт 2004 — *Бенедикт Р.* Хризантема и меч. Модели японской культуры. М., 2004.
- Бессонова 2003 — *Бессонова Е. Ю.* Клише в эпистолярном стиле японского языка. АКД. М.: ИСАА при МГУ, 2003.
- Благовещенская 2007 — *Благовещенская О. В.* Язык молодежи в Японии. АКД. М.: ИСАА при МГУ, 2007.
- Быкова 2000 — *Быкова С. А.* Диалекты и их место в современной Японии. Литература Вестник МГУ. Серия «Востоковедение». 2000. № 1.
- Быкова 2002a — *Быкова С. А.* Диалекты восточной и западной ветвей и их место в японском обществе // Япония. Язык и культура. М.: Муравей, 2002.
- Быкова 2002b — *Быкова С. А.* Окинаваго: язык или диалект? // Вестник МГУ. Серия «Востоковедение». 2002. № 3.
- Быкова 2004 — *Быкова С. А.* Культура Японии сквозь призму японских диалектов // Вестник МГУ. Серия «Востоковедение». 2004. № 1.
- БЯРС — Большой японско-русский словарь / Под ред. Н. И. Конрада. Т. 1–2. М.: Советская энциклопедия, 1970.
- Вардуть, Алпатов, Старостин 2000 — *Вардуть И. Ф., Алпатов В. М., Старостин С. А.* Грамматика японского языка. Введение. Фонология. Супрафонология. Морфонология. М.: Восточная литература, 2000. С. 102–116.
- Вежбицкая 1996 — *Вежбицкая А.* Язык. Культура. Познание. М.: Русские словари, 1996.
- Виноградов 1945 — *Виноградов В. В.* Великий русский язык. М.: Гослитиздат, 1945.

- Герасимова 2004 – *Герасимова М. П.* Современные литературные связи России и Японии // Россия и Япония: соседи в новом тысячелетии. М.: АИРО-XX, 2004.
- Гумбольдт 1984 – *Гумбольдт В. фон.* Избранные труды по языкознанию. М.: Наука, 1984.
- Гуревич 2005 – *Гуревич Т. М.* Человек в японском лингвокультурном пространстве. М.: МГИМО, 2005.
- Кизэда 1958 – *Кизэда М.* Грамматика японского языка. Т. 1. М.: ИВЛ, 1958.
- Конрад 1913 – *Конрад Н. И.* Современная начальная школа в Японии // Журнал Министерства народного просвещения. 1913. № 9.
- Конрад 1954 – *Конрад Н. И.* О литературном языке в Китае и Японии // Вопросы языкознания. 1954. № 3.
- Конрад 1960 – *Конрад Н. И.* О литературном языке в Китае и Японии // Труды Института языкознания АН СССР. Т. 10. М., 1960.
- Конрад 1972 – *Конрад Н. И.* Запад и Восток. 2-е изд. М.: Наука, 1972.
- Конрад 1974 – *Конрад Н. И.* Японская литература. М.: Наука, 1974.
- Крнета 2003 – *Крнета Н.* Мужская и женская речь в современном японском языке. АКД. М.: ИСАА при МГУ, 2003.
- Кронгауз 2005 – *Кронгауз М. А.* Семантика. 2-е изд. М.: АCADEMIA, 2005.
- Кронгауз, Такахаси 2002 – *Кронгауз М. А., Такахаси К.* Обращение по имени в русском и японском языках // Труды по культурной антропологии: Памяти Григория Александровича Ткаченко. М., 2002.
- Кульпина 2001 – *Кульпина В. Г.* Лингвистика цвета. М.: Московский лицей, 2001.
- Кунихиро в печати – *Кунихиро Тэцуя.* Идеальный толковый словарь. М.: УРСС, в печати.
- Маевский 2000 – *Маевский Е. В.* Графическая стилистика японского языка. М.: Муравей-Гайд, 2000.
- Мещеряков 1991 – *Мещеряков А. Н.* Древняя Япония: культура и текст. М.: Наука, 1991.
- Молодяков 1997 – *Молодяков В. Э.* Консервативная революция в Японии: идеология и политика. Докторская диссертация. М., 1997.
- Молодякова, Маркарьян 1996 – *Молодякова Э. В., Маркарьян С. Б.* Японское общество: книга перемен. М.: ИВЛ, 1996.
- Неверов 1982 – *Неверов С. В.* Общественно-языковая практика современной Японии. М.: Наука, 1982.
- Никипорец-Такигава (в печати) – *Никипорец-Такигава Г.* Язык русской диаспоры в Японии // Вопросы языкознания (в печати).

- Ожегов 1952 — *Ожегов С. И.* Словарь русского языка. 2-е изд. М.: Государственное издательство словарей, 1952.
- Ожегов, Шведова 1997 — *Ожегов С. И., Шведова Н. Ю.* Словарь русского языка. 27-е изд. М.: Азбуковник, 1997.
- Падучева 1996 — *Падучева Е. В.* Феномен Анны Вежбицкой // *Вежбицкая А.* Язык. Культура. Познание. М.: Русские словари, 1996.
- Панов 1990 — *Панов М. В.* История русского литературного произношения. М.: Наука, 1990.
- Панов 2007 — *Панов М. В.* Труды по общему языкознанию и русскому языку. Т. 2. М.: Языки славянских культур, 2007.
- Пильняк 1935 — *Пильняк Б.* Камни и корни. М.: Художественная литература, 1935.
- Поливанов 1917 — *Поливанов Е. Д.* Психофонетические наблюдения над японскими диалектами. Пг., 1917.
- Реформатский 1967 — *Реформатский А. А.* Введение в языковедение. М.: Просвещение, 1967.
- Румак 2006 — *Румак Н. Г.* Теоретические и прикладные проблемы межъязыковых соответствий (на примере перевода ономапотической лексики в японском языке). Канд. дис. М.: ИСАА при МГУ, 2006.
- Свинина 2007 — *Свинина Н. М.* Опыт исследования устной формы делового стиля японского языка. Канд. дис. М.: ИСАА при МГУ, 2007.
- Словарь 1948–1965 — Словарь современного русского литературного языка. Т. 1–17. М.; Л.: Государственное издательство словарей, 1948–1965.
- Словарь 1957–1961 — Словарь русского языка. Т. 1–4. М., Государственное издательство словарей, 1957–1961.
- Старостин 1991 — *Старостин С. А.* Алтайская проблема и происхождение японского языка. М.: Наука, 1991.
- Суперанская 1973 — *Суперанская А. В.* Общая теория в шкале собственного. М.: Наука, 1973.
- Танидзаки 1984 — *Танидзаки Дзюнъитиро.* Мать Сигэмото. М.: Наука, 1984.
- Тимофеев 1956 — *Тимофеев Б.* Когда Юпитер вправе сердиться // *Тимофеев Б.* Сатирические стихи. М.: Правда, 1956.
- Токиэда 1983 — *Токиэда Мотоки.* Основы японского языкознания // *Языковедение в Японии.* М.: Радуга, 1983.

- Уорф 1960 – Уорф Б. Отношение норм поведения и мышления в языке. Наука и языкознание. Лингвистика и логика // Новое в лингвистике. Вып. 1. М.: Издательство иностранной литературы, 1960.
- Ушаков 1935–1940 – Толковый словарь русского языка / Под ред. Д. Н. Ушакова. Т. I–IV. М.: Государственное издательство словарей, 1935–1940.
- Фрумкина 1984 – Фрумкина Р. М. Цвет, смысл, сходство. Аспекты психолингвистического анализа. М.: Наука, 1984.
- Холодович 1937 – Холодович А. А. Синтаксис японского военного языка. М.: Издательское товарищество иностранных рабочих в СССР, 1937.
- Холодович 1952 – Холодович А. А. Действие и субъект речи в японском языке // Ученые записки ЛГУ. № 128. Серия востоковедных наук. Вып. 3. 1952.
- Холодович 1979 – Холодович А. А. Проблемы грамматической теории. Л.: Наука, 1979.
- Храковский, Володин 1986 – Храковский В. С., Володин А. П. Семантика и типология императива. Русский императив. Л.: Наука, 1986.
- Черевко 2004 – Черевко К. Е. «Кодзики» («Запись о деяниях древности»), VIII в., и становление японского письменно-литературного языка. АДД. М., 2004.
- Шайкевич 2005 – Шайкевич А. Я. Русская языковая картина мира в ряду других картинок // Московский лингвистический журнал, № 8/2. М., 2005.
- Энциклопедический словарь 1984 – Энциклопедический словарь юного филолога. М.: Педагогика, 1984.
- Энциклопедический словарь 2006 – Энциклопедический словарь юного лингвиста. М.: Флинта-Наука, 2006.
- Языкознание 1983 – Языкознание в Японии. М.: Радуга, 1983.
- Яхонтов 1963 – Яхонтов С. Е. О значении термина «слово» // Морфологическая структура слова в языках разных типов. Л.: Наука, 1963.
- Aitchison, Lewis 2003 – Aitchison J., Lewis D. W. (eds.). *New Media Language*. London; N. Y.; Routledge, 2003.
- Akasu, Asao 1993 – Akasu Kaoru, Asao Kojiro. *Sociolinguistic Factors Influencing Communication in Japan and in the United States* // W. B. Gudykunst (ed.). *Communication in Japan and in the United States*. State University of New York Press, 1993.
- Asahi 1973 – Asahi gendai yoogo jiten. Tokyo: Asahi, 1973.

- Berlin, Kay 1969 – *Berlin B., Kay P.* Basic Color Terms: their Universality and Evolution. Berkeley, 1969.
- Chiiki 1974 – Chiiki shakai no gengo seikatsu. Tokyo, 1974.
- Clancy and al. 1996 – *Clancy P. M., Thompson S. A., Suzuki R., Tao Hongyin.* The Conversational Use of Reactive Tonems in English, Japanese and Mandarin // *Journal of Pragmatics*. Vol. 26. 1996. № 3.
- Dale 1986 – *Dale P.* The Myth of Japanese Uniqueness. London – Sydney – Oxford, Choom Helm and Nissan Institute of Japanese Studies, 1986.
- Doi 1986 – *Doi T.* The Anatomy of Dependence. 5th ed. Tokyo; N. Y., 1986.
- Eigo 2007 – Eigo-temboo. ELEC Bulletin, 115. 2007.
- Ekoto 1993 – *Ekoto Shigeru.* Jairaigo ni ts uite // Jairaigo. Tokyo: Kotoba-Yomiuri, 1993.
- Ekuni 1993 – *Ekuni Shigeru.* Gairaigo ni tsuite // Gairaigo. Tokyo: Kotoba-Yomiuri, 1993.
- Endoo 1995 – *Endoo Hachiroo* (ed.). Nihonjin no eigo, gaikokujin no nihongo. Tokyo: Sanseidoo, 1995.
- Endoo 2001a – *Endoo Orié.* Joshei no kotoba kenkyuu no hirogari to fukamari // *Onna to kotoba*. Endoo Orié (ed.). Tokyo: Akaishi-shoten, 2001.
- Endoo 2001b – *Endoo Orié.* Onna no ko no “boku.ore” wa okashiku nai // *Onna to kotoba / Endoo Orié* (ed.). Tokyo: Akaishi-shoten, 2001.
- Fuji 2007 – *Fuji Yasunari.* Tell Me about When You Were Hitchhiking: The Organization of Story Initiation by Australian and Japanese Speakers // *Language in Society*. Vol. 36. № 2. April 2007.
- Fukuda 1990 – *Fukuda Eiichi, Fukuda Yuuji.* Nichibei no kokusaika to gengo sootaisei. Tokyo, 1990.
- Gairaigo 1993 – Gairaigo. Tokyo: Kotoba-Yomiuri, 1993.
- Gendai 2005–2006 – Gendai zasshi no goi choosa 1994 nen hakkoo 70 shi KKK, Vol. 1–2. Tokyo, KKK, 2005–2006.
- Gendaijin 2006 – Gendaijin no katakanago oobunruakugo jiten. Tokyo: Shueisha, 2006.
- Gengo – журнал, Токио.
- Gengo-seikatsu – журнал, Токио.
- Gottlieb 2005 – *Gottlieb N.* Language and Society in Japan. Cambridge University Press, 2005.
- Grootaers 1982 – *Grootaers W.* Dialectology and Sociolinguistic: a General Survey // *Lingua*. Vol. 57. № 2–4. 1982.

- Gudykunst 1993 – *Gudykunst W. B.* Preface // W. B. Gudykunst (ed.). Communication in Japan and in the Unites States. State University of New York Press, 1993.
- Guaru-moji – <http://en.Wikipedia.org/wiki//Guaru-moji>
- Haga 2004 – *Haga Yasushi*. Nihonjin gengo bunka ron koogi (nihonjinrashisa) no koozoo. Tokyo: Taishuukan-shoten, 2004.
- Hangai 2002 – *Hangai Yasutaka*. Hiyu no nihongo. Tokyo: Shiromizusha, 2002.
- Hayakawa 2001 – *Hayakawa Haruko*. “Utsukushii josei” to “tatakau dansei” no hookoku sekai // Onna to kotoba / Endoo Orié (ed.). Tokyo: Akaishi-shoten, 2001.
- Hayashi 1973 – *Hayashi Ooki*. Katei to keigo // Gendai no keigo, 6. Tokyo: Shoomei-shoin, 1973.
- Hill and al 1986 – *Hill B., Ide S., Ikuta Sh., Kawasaki A., Ogino Ts.* Universals of Linguistic Politeness. Quantitative Evidence from Japanese and American English // Journal of Pragmatics. Vol. 10. 1986. № 3.
- Hiro 1984 – *Hiro Sueichi*. Kodomo to gairaigo // Gengo-seikatsu. 1984. № 7.
- Honda 2001 – *Honda Akiko*. Doko ga chigau, onna no ko no kotoba to otoko no ko no kotoba // Onna to kotoba / Endoo Orié (ed.). Tokyo: Akaishi-shoten, 2001.
- Honna 1995a – *Honna N.* English in Japanese Society: Language within Society // Multilingual Japan. Clevedon – Philadelphia – Adelaide, 1995.
- Honna 1995b – *Honna Nobuyuki*. Japanizu-ingurishshu de ikoo // *Endoo Hachiroo* (ed.). Nihonjin no eigo, gaikokujin no nihongo. Tokyo, Sanseido, 1995.
- Ide 1982 – *Ide S.* Japanese Sociolinguistic: Politeness and Women’s Language // Lingua. Vol. 57. № 2–4. 1982.
- Ikegami 2000 – *Ikegami Yoshihiko*. «Nihongoron» e no shootai. Tokyo, Koodansha, 2000.
- Imai 1980 – *Imai Tadashi*. Kokugo ni okeru kanji no ummei // Ube-tankidaigaku-gakujutsu-hookoku. № 16. 1980.
- Inoue 1982 – *Inoue Fumio*. Higashi Nihon no «Shin Hoogen» // Area and Culture Studies, 32. Tokyo, 1982.
- Ishiwata 1993 – *Ishiwata Toshio*. Wasei eigo to kokusai tsuuyoogo // Gairaigo. Tokyo: Kotoba-Yomiuri, 1993.
- Iwabuchi 1993 – *Iwabuchi Etsutaroo*. Gairaigo // Gairaigo. Tokyo: Kotoba-Yomiuri, 1993.

- Iwasaki 2002 – *Iwasaki Shoichi*. Japanese. Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins, 2002.
- Johnson 1993 – *Johnson F. A.* Dependency and Japanese Socialization. Psychoanalytic and Anthropological Investigations to Amae. N. Y.; London, 1993.
- JT – Japan Times – газета, Токио.
- Jugaku 1979 – *Jugaku Akiko*. Nihongo to onna. Tokyo, 1979.
- Jugaku 2001 – *Jugaku Akiko*. «Omae» arekore // Onna to kotoba. Tokyo: Akaishi-shoten, 2001.
- Kabashima 1983 – *Kabashima T.* Daisan no henkakuki o mukaeta nihongo // Nihongo no 21 seiki. Nihongo ga kawaru ka. Tokyo, 1983.
- Kai 2007 – *Kai Mutsuroo*. Shisen chokugoo no kokugo kokuji mondai // Nihongogaku. 2007. № 11.
- Kamei 2007 – *Kamei Hajime*. Shingo, sesoogo, ryuukyuu // Gengo. 2007. № 4.
- Kana 1983 – Kana no hikari, журнал. Токио.
- Katsumata 1954 – *Kenkyusha's Japanese-English Dictionary* / Ed. by M. Katsumata. Tokyo, 1954.
- Kenkyuusha 1988 – *Kenkyuusha* новый русско-японский словарь. Токио: Kenkyuusha, 1988.
- Kikuchi 1992 – *Kikuchi Kyuichi*. Nonstandard Writings among Young Japanese Women. Paper Prepared for the Third International Symposium on Language and Linguistics, Bangkok, Thailand, Jan. 8–10. 1992.
- Kindaichi 1978 – *Kindaichi H.* The Japanese Language. Tokyo, 1978 (японское издание книги появилось в 1957 г.).
- Kobayashi 2001 – *Kobayashi Mieko*. Kekkon.katei o meguru kekka to kotoba, 20 nen // Onna to kotoba / Endoo Oriie (ed.). Tokyo: Akaishi-shoten, 2001.
- Kodansha 1981–1992 – *Kodansha waroo jiten* / Satoo Takeshi (Ed.). Tokyo: Kodansha, 1981 (1-е изд.), 1992 (2-е изд., перераб.).
- Kodansha's 2001 – *Kodansha's Effective Japanese Usage Dictionary. A Concise Explanation of Frequently Confused Words and Phrases* / Ed. by Hiroshie Masayoshi, Kakuko Shoji. Tokyo: Kodansha, 2001.
- Konsaisu 1962 – *Konsaisu rowa jiten* / Igeta Sadatoshi (ed.). Tokyo: Sanseido, 1962.
- Koojien – Koojien. 3-е изд. Токио: Iwanami-shoten, 1976. 4-е изд. / bid 1985.
- Kosuge 2007 – *Kosuge Atsuko*. Gyoomu kyooiku de sodateru seitoo no eigoryoku // Eigo temboo. ELEC Bulletin. № 115. 2007.

- Koyano 2001 – *Koyano Tetsuo*. Shiko manga «Fuji Santaroo» ni miru josei // Onna to kotoba / Endoo Orié (ed.). Tokyo: Akaishi-shoten, 2001.
- Kumagai 2001 – *Kumagai Sigeo*. Yakusho de «kanan koto wa» kanan to «osoo» // Onna to kotoba / Endoo Orié (ed.). Tokyo: Akaishi-shoten, 2001.
- Kurashima 1997 – *Kurashima Nagamasa*. «Kokugo» to «kokujiten» no jidai. Sono rekishi. Vol. 1–2. Tokyo: Shoogakkan, 1997.
- Lakoff 2003 – *Lakoff R. T.* The New Incivility. Threat or Promise? // New Media Language / Ed. by J. Aitchison and D. M. Lewis. London; N. Y.: Routledge, 2003.
- Loveday 1996 – *Loveday L. J.* Language Contact in Japan. A Socio-Linguistic History. Oxford, 1996.
- Maher 1995a – *Maher J.* Preface // Multilingual Japan. Clevedon; Philadelphia; Adelaide, 1995.
- Maher 1995b – *Maher J. C.* The Kakuyo: Chinese in Japan // Multilingual Japan. Clevedon; Philadelphia; Adelaide, 1995.
- Maher, Kawanishi 1995 – *Maher J. C., Kawanishi Y.* On Being There: Korean in Japan // Multilingual Japan. Clevedon; Philadelphia; Adelaide, 1995.
- Marutani 1993 – *Marutani Saiichi*. Katakana to roomaji de // Gairaigo. Tokyo: Kotoba-Yomiuri, 1993.
- Masuda 1974 – Kenkyusha's New Japanese-English Dictionary / Ed. by K. Masuda. Tokyo: Kenkyusha, 1974.
- Matsumori 1995 – *Matsumori Akiko*. Ryuukyuan: Past, Present, and Future // Multilingual Japan. Clevedon; Philadelphia; Adelaide, 1995.
- Matsumoto 1969 – *Matsumoto Seichoo*. Kyuukei no areno. Tokyo, 1969.
- Matsumoto 1980 – *Matsumoto Katsumi*. Nihongo o kangaeru // Jimbun shakai kagaku kenkyuu, 18. Tokyo, 1980.
- Matsuoka 1993 – *Matsuoka Kooka*. Gairaigo no rekishi // Gairaigo. Tokyo: Kotoba-Yomiuri, 1993.
- Miller 1982 – *Miller R. A.* Japan's Modern Myth. The Language and Beyond. N. Y.; Tokyo: Weatherhill, 1982.
- Mizutani 1981 – *Mizutani O.* Japanese: the Spoken Language in Japanese Life. Tokyo: Japan Times, 1981.
- Moeran 1989 – *Moeran B.* Language and Popular Culture in Japan. Manchester University Press, 1989.
- Moeran 1990 – *Moeran B.* Introduction // Unwrapping Japan. Society and Culture in Anthropological Perspective. Manchester, 1990.

- Multilingual 1995 – Multilingual Japan / Ed. by J. C. Maher, Yasuhiro Kyoko. Clevedon; Philadelphia; Adelaide, 1995.
- Nakajima 2001 – *Nakajima Etsuko*. «!» to «ii sa shi» no darake no jousei shuukanshi // *Onna to kotoba* / Endoo Orié (ed.). Tokyo: Akaishi-shoten, 2001.
- Nakamura 2007 – *Nakamura Momoko*. «Onnakotoba» wa tsukurareru. Tokyo: Hitsuji-shoboo, 2007
- Narumi, Takeuchi, Komatsu 2007 – *Narumi Keizoo, Takeuchi Sawako, Komatsu Tatsuya*. Sekai to nihon no chiteki kooryuu. Kooryuu ni motomerareru eigoryoku // *Eigo-temboo*. ELEC Bulletin, 115. 2007.
- Neustupny 1978 – *Neustupny J. V.* Post-structural Approaches to Languages (Language Theory in a Japanese Context). Tokyo, 1978.
- NHK 1972 – NHK soogoo hoosoo bunka kenkyuujo. Tokyo, 1972.
- Nihon 1973-1976 – *Nihon kokugo daijiten*. V. 1–20. Tokyo, 1973–1976.
- Nihongo – журнал, Токио.
- Nihongo 1983 – *Nihongo no 21 seiki*. Nihongo wa doo kawaru ka. Tokyo: Chuuo seihan insatsu kabushiki kaisha, 1983.
- Nihon zokugo 2003 – *Nihon zokugo daijiten* (Dictionary of Japanese Slang and Colloquialisms). Yonekawa Akihiko (ed.). Tokyo: Tookyoodoo, 2003.
- Nishitani, Kanno 1977 – *Nishitani Hironobu, Kanno Ken*. «Shin-kanji-hyoo» to hoosoo-yoogo // *Bunken-geppoo*. Tokyo, 1977. № 6.
- Ochiai 2001 – *Ochiai Keiko*. «Watashi» ni wa, utaenai, utaitakunai, «onna» ga ita // *Onna to kotoba* / Endoo Orié (ed.). Tokyo: Akaishi-shoten, 2001.
- Oda 2007 – *Oda Masaki*. «Chikyuugo» to shite no eigo // *Eigo temboo*. ELEC Bulletin, №115. 2007.
- Ogino 1983 – *Ogino Tsunao*. Yamanote to Shitamachi ni okeru keigo shiyoo no chigai // *Gengo-Kenkyuu*, 84, 1983.
- Ogura, Aizawa 2007 – *Ogura Hideki, Aizawa Masao*. Gendai zasshi 70 shi ni okeru kanji no shiyoo jittai to jooyoo kanji hyoo kokugo shisaku e no koopasu katsuyoo ni muketa kisoo choosa (Kanji Use in Seventy Contemporary Magazines and Jooyoo Kanji: a Preliminary Study for the Application of Text Corpora to Japanese Language Policy) // *Nihongo-kagaku*, 22. 2007.
- Onna 2001 – *Onna to kotoba* / Endoo Orié (ed.). Tokyo: Akaishi-shoten, 2001.
- Ozaki 2008 – *Ozaki Joshimitsu*. Jakkoo ni naka de no chuugakusei no koshoo // *Onna tu kotoba* / Endoo Orié (ed.) Tokyo: Akaishi-shotek, 2001.

- Passin 1980 – *Passin H.* Japanese and the Japanese. Language and Culture Change. Tokyo, 1980.
- Reikai 1972 – Reikai shin kokugo jiten / Hayashi Shiroo (ed.). Tokyo, 1972.
- Reinoruzu 2001 – *Reinoruzu Akiba Katsue.* Poozu-firaa kara mita josei no hanashikata no henka to genjoo // Onna to kotoba / Endoo Orié (ed.). Tokyo: Akaishi-shoten, 2001.
- Robert 1985 – *Robert P.* Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française. Vol. 1–9. Paris, 1985.
- Rolandelli, Sugihara, Wright 1992 – *Rolandelli D. R., Sugihara K., Wright J. C.* Visual Processing by Japanese and American Children // Language Variation and Change. Vol. 3. 1992. № 1.
- Sakamoto 1983 – *Sakamoto Kei.* Gendai teichoogo no seishitsu («itasu» o chuushin ni shite) // Kokugogaku kenkyuu to shiryoo, 7. Tokyo, 1983.
- Sakurai 2001 – *Sakurai Takashi.* «Sekuhara» – shokujoo ni okeru kotoba no josei sabetsu // Onna to kotoba / Endoo Orié (ed.). Tokyo: Akaishi-shoten, 2001.
- Sanada 2002 – *Sanada Haruko.* Kindai nihongo ni okeru gakujutsu yoogo no seiritsu to teichaku // Tokyo: Kenbunsha, 2002.
- Sanseidoo 1992 – Sanseidoo kokugo jiten / Kindaichi Haruhiko (ed.). Tokyo: Sanseidoo, 1992.
- Sasaki 2000–2003 – *Sasaki Mizue.* Otoko to onna no nihongo jiten. Vol. 1–2. Tokyo: Tookyoodoo, 2000–2003.
- Sasaki 2001 – *Sasaki Eri.* Hisei sabetsu go e no gengo kaikaku ni imi hitsuyoo na koto // Onna to kotoba / Endoo Orié (ed.). Tokyo: Akaishi-shoten, 2001.
- Satake 2001a – *Satake Hideo.* Joseikan no kompon mondai wa kaiketsu-shite inai // Onna to kotoba / Endoo Orié (ed.). Tokyo: Akaishi-shoten, 2001.
- Satake 2001b – *Satake Kuniko.* Shimbun wa seisabetsu ni dore dake keikin ni natta ka // Onna to kotoba // Endoo Orié (ed.). Tokyo: Akaishi-shoten, 2001.
- Satake 2001c – *Satake Kuniko.* Supootsu shimbun ni poruno wa iranai // Onna to kotoba / Endoo Orié (ed.). Tokyo: Akaishi-shoten, 2001.
- Seward 1968 – *Seward J.* Japanese in Action. New York – Tokyo, 1968.
- Shibamoto 1985 – *Shibamoto J. S.* Japanese Women's Language. Orlando; San Diego; N. Y.; London; Toronto; Montreal; Sydney; Tokyo, 1985.
- Shibata 1984 – *Shibata Takeshi.* “Nihongo saihakken” saishuniatsu // Gengo. 1984. 2.
- Shibata 1990 – *Shibata Takeshi.* Nihongo no saigo no kabe wa kanji shiyoo // Nihongo. 1990. 1.

- Shibata 1993 – *Shibata Takeshi*. Gairaigo wa nihongo o midasu ka // Gairaigo. Tokyo: Kotoba-Yomiuri, 1993.
- Shibatani 1990 – *Shibatani M.* The Languages of Japan. Cambridge, 1990.
- Shimozaki 2007 – *Shimozaki Minoru*. «Hoshi no oojisama» hoohyoogen bariieshon // Gengo. 2007. № 4.
- Soto 1985 – Soto kara mita nihongo, uchi kara mita nihongo. Tokyo: Musashino-shoin, 1985.
- Sotoyama 1993 – *Sotoyama Shigehiko*. Gairaigo o ukeireru shinri // Gairaigo. Tokyo: Kotoba-Yomiuri, 1993.
- Stanlaw 1992 – *Stanlaw J.* «For Beautiful Human Life»: the Use of English in Japan // Re-Made in Japan. Everyday Life and Consumer Taste in a Changing Society. New Haven; London, 1992.
- Stanlaw 2004 – *Stanlaw J.* Japanese Language: Language and Culture Contact. Hong Kong University Press, 2004.
- Starostin, Dybo, Mudrak 2003 – *Starostin S., Dybo A., Mudrak O.* An Etymological Dictionary of the Altaic Languages. Leiden, 2003.
- Stevens 2008 – *Stevens C. S.* Japanese Popular Music: Culture, Anthropology, and Power. London – N. Y.: Routledge, 2008.
- Stockwin 1986 – *Stockwin J. A.* Preface // *Dale P.* The Myth of Japanese Uniqueness. London; Sydney; Oxford: Choom Helm and Nissan Institute of Japanese Studies, 1986.
- Sugito 1983 – *Sugito Miyoko*. Nagasakiken Miemura ni okeru Porivaanofu // Oosaka shoojin joshi daigaku ronshuu, 20. Osaka, 1983.
- Suzuki 1987a – *Suzuki Takao*. Reflections on Japanese Language and Culture. Tokyo, 1987.
- Suzuki 1987b – *Suzuki T.* Internationalization and Language // Japan Times. 09.02.1987.
- Suzuki 1987c – *Suzuki Takao*. Words in Context. A Japanese Perspective on Language and Culture. Tokyo, 1987.
- Suzuki 1993 – *Suzuki Takao*. Gairaigo o megutte // Gairaigo. Tokyo: Kotoba-Yomiuri, 1993.
- Suzuki 2006 – *Suzuki Takao*. Kotoba no chikara. Tokyo: Bungei-shunshuu. 2006.
- Suzuki Ch. 2001 – *Suzuki Chizu*. Onna no tsukau «otoko no kotoba», otoko no tsuku «onna no kotoba» // Onna to kotoba / Endoo Oriie (ed.). Tokyo: Akaishi-shoten, 2001.
- Suzuki N. 2007 – *Suzuki Norihisa*. Seisho no hon'yaku to nihongo // Gengo. 2007. № 4.

- Takada 2007 – *Takada Tomokazu*. Kanji to kakikoe // Nihongogaku. 2007. № 11.
- Takasaki 2001 – *Takasaki Midori*. Amari ni sukunai hoosookai no josheita-chi // Onna to kotoba / Endoo Orié (ed.). Tokyo: Akaishi-shoten, 2001.
- Takemoto 1982 – *Takemoto Shozo*. Cultural Implications and Culture Contrasts between Japanese and English // International Review of Applied Linguistics. T. XV. Heidelberg, 1982.
- Takiura 2007a – *Takiura Masato*. Koshoo no poraitonesu // Gengo. 2007. № 12.
- Takiura 2007b – *Takiura Masato*. «Mezasu» koto to «noberu» koto // Nihongogaku. 2007. № 11.
- Tanaka 1984 – *Tanaka Noriko*. Nihongo no naka no «katakana eigo» // Gengo seikatsu. 1984. 8.
- Tanaka 1990 – *Tanaka K.* «Intelligent Elegance». Women in Japanese Advertising // Unwrapping Japan Society and Culture in Anthropological Perspective. Manchester, 1990.
- Tanaka 2004 – *Tanaka Lidia*. Gender, Language and Culture. A Study of Japanese Television Interview Discourse. Amsterdam – Philadelphia: John Benjamins, 2004.
- Tobin 1992 – *Tobin J. J.* Introduction: Domesticating the West // Re-Made in Japan. Everyday Life and Consumer Taste in a Changing Society. New Haven; London, 1992.
- Tokieda 1941 – *Tokieda Motoki*. Kokugogaku-genron. Tokyo: Iwanami-shoten, 1941.
- Toyama 2005 – *Toyama Shigehiko*. Daijin no nihongo. Sanjuusai kara no «jattaigokan» no migakikata. Tokyo: Bijinesusha, 2005.
- Toyoda 1972 – *Toyoda Kunio*. Nihon no kokugo-seisaku no mondai // Gengo-seikatsu. 1972. № 9 (252).
- Tsukamoto 1993 – *Tsukamoto Kunio*. Gairaigo koozui ni ukabu hookoo // Gairaigo. Tokyo: Kotoba-Yomiuri, 1993.
- Tsunoda 1978 – *Tsunoda Tadanobu*. Nihonjin no noo. Tokyo, 1978.
- Umezu 1983 – *Umezu Akito*. Kanji-shiyoo ni kansuru choosa-kenkyuu // Bungei-gengo-kenkyuu. № 8. Tsukuba, 1983.
- Urushida 2001 *Urushida Kazuyo*. “Onnarashii” bunshoo wa kakoo no mono // Onna to kotoba / Endoo Orié (ed.). Tokyo: Akaishi-shoten, 2001.
- Utsukushii 1981 – *Utsukushii nihongo to kanji no kyooiku*. Tokyo, 1981.
- Wierzbicka 1991 – *Wierzbicka A.* Japanese Key Words and Core Cultural Values // Language in Society. Vol. 20. 1991. № 3.

- Yabe 2001 – *Yabe Himoko*. Orimpikku hoodoo ni egakareru josheitachi // Onna to kotoba / Endoo Oriie (ed.). Tokyo: Akaishi-shoten, 2001.
- Yamada 1984 – *Yamada Jun*. Taroo mo yomenakatta // Dokushoo kagaku, № 109. Tokyo, 1984.
- Yamamoto 1995 – *Yamamoto M.* Bilingualism in International Families // Multilingual Japan. Clevedon; Philadelphia; Adelaide, 1995.
- Yamamoto 1996 – *Yamamoto Masao*. Bairingaruru wa dono yoo ni shite gengo o shuutoku-suru no ka. Tokyo: Akaishi-shoten, 1996.
- Yamazaki, Yoshii 1984 – *Yamazaki Keiichi, Yoshii Himaki*. Kaiwa no junbantori shisutemu // Gengo. 1984. 7.
- Yashiro 1995 – *Yashiro Kyoko*. Japan's Returners // Multilingual Japan. Clevedon; Philadelphia; Adelaide, 1995.
- Yoshimura 1981 – *Yoshimura Yumiko*. Dooongo to yooahoo // Nihongo to nihon-bungaku. № 1. Tsukuba, 1981.

РАБОТЫ В. М. АЛПАТОВА ПО ЯПОНСКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КУЛЬТУРЕ

1. Судьба айнского языка // Малые языки Евразии: социолингвистический аспект. М.: МГУ, 1997. С. 109–115.
2. Americanization of Japanese and Japanization of English // Historical and Linguistic Interaction between Inner-Asia and Europe. Proceedings of the 39th PIAC. Szeged, 1997. С. 11–18.
3. О двух разновидностях устного и письменного вариантов современного японского литературного языка // Устные формы литературного языка. История и современность. М.: Эдиториал УРСС, 1999. С. 166–182.
4. Языковой аспект современного японского национализма // Япония: мифы и реальность. М.: Восточная литература, 1999. С. 222–240.
5. Американизация японского и русского общества на языковых данных // Российские востоковеды в память о М. С. Капице: Очерки, исследования, разработки. М.: Муравей, 2001. С. 304–315.
6. Why do the Japanese Need Gairaigo // Japan Phenomenon: Views from Europe. М.: Япония сегодня, 2002. С. 106–111.
7. Образ Японии в России (1850–1917) // Россия и Япония: диалог культур и народов: Мат-лы Междунар. симпозиума (Москва, 10–11 сентября 2003 года). М.: Наталис, 2004. С. 100–113.
8. A Concept of Relationship among Language, Culture and Power in Japanese Science // Altaica. IX. М.: Ин-т востоковедения РАН, 2004. С. 7–14.
9. Японская социолингвистика // Социолингвистика вчера и сегодня. М.: ИНИОН, 2004. С. 52–74.
10. Япония: свое и чужое в культуре и языке // Вавилонская башня: Слово. Текст. Культура. М.: МГЛУ, 2004. С. 45–53.

11. Нормированный язык и язык художественной литературы в Японии // Языковая норма и эстетический канон. М.: Языки слав. культур, 2006. С. 186–208.
12. Words of Kinship in Japanese // Kinship in the Altaic World. Proceedings of the 49th PIAC. Wiesbaden, 2006. P. 7–11.
13. Об особенностях японской лексикографии // Лексика и лексикография. Сб. науч. трудов. Вып. 18. М.: Орел ГТУ, 2006. С. 8–17.
14. Японская природа и японский язык // Человек и природа: противостояние и гармония. М.: Издательско-аналитический центр «Энергия», 2007. С. 49–58.
15. Role of Altaic, Chinese and European Vocabulary in Japanese Culture // Proceedings of the 45 Meeting of the Permanent International Altaic Conference. June 22–27. 2003. Ankara, 2007. С. 21–26.
16. Заимствования из английского языка и жанровые особенности в японском языке // Жанры речи. Вып. 5. Жанр и культура. Саратов, 2007. С. 345–351.
17. Особенности японской языковой культуры // IV Международная научная конференция «Язык, культура, общество»: Пленарные доклады. М.: Моск. ин-т иностр. языков, 2007. С. 6–11.
18. Литературный, стандартный, общий язык // Язык и действительность. Сб. науч. трудов памяти В. Г. Гака. М.: ЛЕНАНД, 2007. С. 45–52.
19. Female Variant of Japanese // The Role of Women in the Altaic World. Wiesbaden: Harrasovitz Verlag, 2007. P. 11–14.
20. О языковой картине мира японцев // Историческая психология и социология истории. 1/2008. С. 133–141.
21. Почему так говорят японские женщины // Вопросы японоведения. № 2: Мат-лы науч. конф., посвященной 110-летию кафедры японоведения Санкт-Петербургского университета. СПб., 2008. С. 121–134.
22. Четыре подсистемы японской лексики // Лексика и лексикография: Сб. науч. трудов. Вып. 19. М.: Орел ГТУ, 2008. С. 9–11.
23. Языковая культура современной Японии // Лингвистика для всех. Летние лингвистические школы 2005 и 2006. М.: МЦНМО, 2008. С. 29–35.

Владимир Михайлович Алпатов

**ЯПОНИЯ
Язык и культура**

Издатель А. Кошелев

Зав. редакцией М. Тимофеева

Корректор А. Ставцев

Оператор Е. Зуева

Оригинал-макет подготовлен Л. Гоговой

Художественное оформление переплета С. Жигалкина

Художник-консультант Л. Панфилова

**Подписано в печать 30.09.2008. Формат 60 × 90 ¹/₁₆.
Бумага офсетная № 1, печать офсетная. Гарнитура Times.
Уел. печ. л. 13,0. Тираж 1000. Заказ №**

Издательство «Языки славянских культур».

№ госрегистрации 1037789030641.

Тел.: 607-86-93. E-mail: Lrc.phouse@gmail.com

Site: <http://www.lrc-press.ru>, <http://www.lrc-lib.ru>

**Оптовая и розничная реализация — магазин «Гнозис».
Тел./факс: 8 (499) 255-77-57, тел.: 246-05-48, e-mail: gnosis@pochta.ru**

Костюшин Павел Юрьевич (с 10 до 18 ч.).

Адрес: Zubovskiy проезд, 2, стр. 1

(Метро «Парк Культуры»)

**Foreign customers may order this publication
by E-mail: koshelev.ad@mtu-net.ru**